Л. БОРОДИН

«ТРЕТЬЯ ПРАВДА»

Л. Бородин

«Третья правда»

Повесть

ПОСЕВ

Обложка А. Русака

2-е издание 1984

Frankfurt/Main
Printed in Germany

1

Селиванов шел улицей, вдоль заборов деревни Рябиновки, и притворялся усталым и хромым. Когда нужно было перешагнуть через лужу, он останавливался, ворчал, кряхтел, а занеся ногу, непременно попадал в нее и потом долго охал и стонал, хотя никто того не видел и не слышал.

Селиванов любил притворяться. Он занимался этим всю жизнь. Самодельная березовая трость почернела и потрескалась от его притворства. Он и сам бы не смог вспомнить, когда оно стало его привычкой, потому что вовсе не считал себя притворщиком. А если бы все же признался в этом грехе и попытался вспомнить, то пришлось бы перелопатить в памяти самые свои юношеские годы, когда, промазав на охоте в присутствии отца, он стягивал с себя рубаху и искал несуществующего муравья, который будто бы „цапнул его за волосья подмышкой" во время выстрела.

И ведь все равно получал от отца подзатыльник, а то и смачный пинок под зад, но муравья находил-таки, совал отцу под нос и потом мстительно отрывал муравью голову.

А уж как мог с самого детства разыгрывать

из себя дурака или несведущего в чем-то, притворяться больным или подслеповатым, а как умел пройти мимо соседа и не узнать его, после же оклика извиняться искренне и конфузиться; а в гостях по пьянке надеть чье-нибудь никудышное пальто, свое добротное оставив у гостей, потом же, после обмена, сокрушаться, что вот, дескать, до чего пьянь доводит, до прямого убытку, и надо же такому случиться!

У людей неострого глаза он слыл чудаком; другие, кто догадывался о притворстве, говорили, что Селиванову палец в рот не клади, и опасались его. Но никто, даже отец, с которым Селиванов прошатался по тайге без малого десять лет, даже он не раскусил до конца своего сына, а лишь хмуро косился всякий раз, когда тот выдавал очередную „темноту".

Притом Селиванов никогда не злорадствовал в душе, если удавалось кому-то пустить пыль в глаза, он будто не замечал своей хитрости, не ценил ее и не наслаждался ею. Это была просто потребность, которую он не сознавал. Однако же пользовался притворством часто с большой пользой для себя. Но и без всякой пользы тоже.

Вот сейчас у проулка он увидел девочку, ломающую рябину; подкрался к ней, чуть коснулся тростью плеча. Девчушка вскрикнула, отскочила. Селиванов покачал головой и надтреснутым старческим голосом выговорил ей за небережливость к дереву, которое и краса и удовольствие для деревни. До деревни и до дерева Селиванову было заботы не больше, чем до гольцов Хамар-Дабана на горизонте. Сейчас он притворялся ворчливым стариком, любящим больше печки и заваленки поучать молодежь.

Деревня Рябиновка, полагают, называлась так по рябиновым зарослям вокруг — и в каждом проулке, и в каждой усадьбе. Но было и другое мнение...

На том краю деревни, где почти без перехода рябины уступали место кедрам, старым и кривым, стоял большой пятистенный дом Ивана Рябинина, и не сохранилось в деревне ни одного старика или старухи, которые помнили или знали по рассказам своих бабок и дедов деревню без этого дома и Рябининых в нем.

Сюда-то и держал путь Андриан Никанорович Селиванов. Путь был не короток — с одного конца деревни на другой, но Селиванов не спешил, а напротив, чем ближе подходил к рябининскому дому, тем чаще останавливался по всякому пустяку, тем суетливее становилась его походка, шаги, однако же, не ускорявшая...

Двадцать пять лет пустовал рябининский дом, и хотя за это немыслимое для хозяйства время не был растащен по бревнышкам (чему были причины, конечно!), то пострадал от бесхозяйственности изрядно и видом и осанкой, в особенности окрестностями: огороды превратились в черемушник и рябинник, двор — в царство крапивы, обнаглевших от приволья репея и лопухов, а колодец просто сгнил и обвалился срубом внутрь.

Каждый новый председатель сельсовета одним из первых своих административных актов провозглашал решение о передаче приусадебного участка в 0,3 га кому-либо из нуждающихся в том жителей деревни, но всякий раз, спустя несколько дней, этот самый нуждающийся публично отказывался от „рябининского пустыря”, как его называли, и сам председатель забывал об участке навсегда. Жители Рябиновки многозначительно переглядыва-

лись между собой, когда кто-нибудь на улице или в магазине затевал разговор о странной судьбе участка. Дело пахло тайной, а тайна способна придавать значимость всему и всем, кто к ней оказывается причастным. Да и не в тайне одной было дело!

Судьба Ивана Рябинина была недоброй и несправедливой. И хотя ни одну душу не возмутила она так, чтоб подать голос, и ни одну руку не подняла в защиту — только вздохи, покачивания голов да безвольное пожатие плеч, но были все внимание и память — горькой судьбе Ивана Рябинина. А многолетняя неприкосновенность „рябининского пустыря" стала для всех знающих и помнящих Ивана Рябинина не просто оправданием их равнодушия к чужой беде (к своим бедам они притерпелись), а местью всему, что есть судьба, когда она — недобрая, и всему, что за этой судьбой скрывается, неназванному и недоступному. Жители Рябиновки порою даже преувеличивали значимость судьбы трех десятых гектара лопухов, крапивы и рябины в судьбе самой деревни, пытаясь намеками, прищурами, причмокиванием да прикашливанием выткать в воображении своеобразную легенду без слов и содержания, но полную смысла и неведомой мудрости.

Они были бы обижены и даже рассержены, если б узнали, что вся тайна в том только и есть, что мужичок с березовой тростью, бредущий сейчас по деревне к рябининскому дому, появлялся каждый раз перед очередным претендентом на участок с соболем за пазухой (если тот был жаден), или с бутылкой самогона (если был тот человек — человеком), или с парой „теплых слов" ночью у плетня (если тот был труслив). А все бывшие председатели сельсовета так старательно не узнавали

Селиванова при встрече, что тоже, наверное, могли кое о чем порассказать.

За те двадцать пять лет, что простоял рябиновский дом с заколоченными окнами, сколько игр переиграли деревенские мальчишки в зарослях участка, сколько влюбленных парочек пересидело на приступке рябининского колодца, сколько кошачьих свадеб сыграно в паутиновых джунглях высокого рябининского чердака, сколько птенцов вывелось и разлетелось по свету изо всех щелей и дыр крутоскатной крыши...

Целое поколение рябиновцев родилось и выросло за период безнадзорности рябининского дома. Да и те, что родились и жили раньше, тоже так свыклись с заколоченными окнами дома на краю деревни и с пребыванием в неведомости самого хозяина, что тем самым утром, когда бабка Светличная ахнула около магазина, хлопнув руками по бедрам, когда она даже присела и выпучила глаза вслед старику с вещмешком за спиной, когда она испуганно прошептала: „Господи, никак Рябинин Иван вернулся!" и перекрестилась, будто увидела привидение, — вот с того самого утра деревня, более чем неделю, цокала языками, разводила руками и тревожно принюхивалась.

Когда же к ней вернулся дар речи, все заговорили хлопотно и многоречиво, и, конечно, нашлись умники и знатоки, которые, многозначительно покачивая головами, с большим смыслом произносили одну и ту же фразу: „Двадцать пять! Н-да-а!" Те, что были еще толковее, прошедшие без медных труб огонь и воду, поясняли, что двадцать пять — это, по-иному говоря, четвертак! А четвертак — это вам не червонец! И каждый пытался представить себе свои двадцать пять, что прожил, будто их и не было, и не мог представить своей

жизни в таком изуродованном виде, и не мог понять прошедшего через то Ивана Рябинина. А потому не шел к нему, чтобы поздравить с возвращением; еще же оттого, что не знал, уместно ли вообще поздравлять человека в таком случае.

Никто не пришел к Ивану Рябинину ни в этот день, ни на следующий, ни на третий. На четвертый он вышел сам, и его сразу увидело пол-деревни, и замерли люди, затаив дыхание, словно вышел Иван Рябинин на улицу, чтоб пристыдить всех за что-то или посчитаться с кем-то. Он же прошел в сельсовет, пробыл там не более получаса и вышел так же спокойно, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь.

Теперь деревня вспомнила про него все, что забыла или не вспоминала. И это забытое вдруг обернулось нынче не просто интересной и романтической историей, но историей вообще, как бывают те или иные события, в отличие от всех прочих, непосредственной историей народа, вовсе необязательно прямо участвующего в этих событиях.

Деревня испытывала угрызения совести, но больше терзалась от того, что не знала своей вины, и подозревала, что вины этой нет, тем не менее чувствовала себя виноватой, как здоровый — перед калекой. Деревня десятками пронырливых мальчишеских глаз следила за домом на окраине, говорила, молчала, думала. В неожиданном почете оказались все, кто помнил Ивана Рябинина, кто когда-либо в то время, что было отделено от нынешнего двадцатью пятью годами, соприкасался с Рябининым, а в то время, поскольку был Рябинин егерем, соприкасались многие. Они припоминали и не могли припомнить добрых чувств к егерю: напротив, оказывалось, что каждый хоть однажды да сталкивался с непримиримым, упрямым охранником рябиновской тайги.

Морщинистыми лбами старух деревня напрягла память и вспомнила не только мать Ивана Рябинина, хлопотливую, быстроногую женщину, но и отца его, не вернувшегося с гражданской, откуда-то с „приокеана", где дрался он за красных против двоих своих старших сыновей, мобилизованных каппелевцами и канувших в безызвестность в те прожорливые на человеческие жизни годы.

Деревня вспомнила работящего, всегда хмурого и нелюдимого паренька-сироту, что незаметно для всех превратился в статного, крепкого парня — таежника, а потом и в первого советского егеря. Крепкая задним умом деревня нынче готова была признать, что Иван Рябинин справедливым был егерем, а что если и прижимал кого, так это когда уж тот совсем без меры лютовал в тайге. Но признать такое было нелегко, потому что разве забыть, как недобро смотрел Ивану Рябинину вслед тот, кого уводили милиционеры? Разве забыть, с какой жадной яростью накинулась деревня на таежную благодать в короткий период междуцарствия и как затем радостно и хитро прищурилась она, когда поняла, что новый егерь за бутыль самогона готов не то что полдюжины струнчатых сосен, а целую деляну отвалить и живность любую положить на мушку дробовика без ограничения и меры. Несколько лет таежная мудрость шла по цене самогона, и деревня нагуляла солидный жирок от своего беззакония. Потом уж и сами готовы были одуматься; кряхтели мужики-охотники и покачивали головами, цокали языками и недобро косились на новый дом своего егеря. И долго бы еще косились, если б, смешно сказать, сохатый не затоптал в смертной агонии оплошавшего егеря.

Тогда деревня вспомнила впервые об Иване Рябинине добро. Но воспоминание было корот-

ким, потому что жизнь — не тихая вода, а чаще паводок, и надо суметь жить и выжить. Это же — не просто, когда весь мир, что начинался за границами деревни, оскалился на нее в непонятной лютости, и козни его, казалось, самим сатаной придуманы на погибель мужика...

Вспомнила деревня и то доброе летнее утро, когда на крыльце рябининского дома появилась царевна-лебедь. Она вышла из сеней так, будто только-только появилась на свет, будто родилась с этим тихим скрипом сенных дверей, золотоволосая, с маленькими белыми ножками. И все подтверждало ее чудесное рождение: как прищурилась она на солнышко, а затем закрыла глаза, словно постигая собственную тайну; как озадаченно-изумленно смотрел Иван Рябинин на нее, замерев у поленницы дров с опущенным топором; как потом сошлись они у последней ступеньки крыльца и молчали, не прикасаясь друг к другу.

Теперь уже было не вспомнить, чьими глазами увидела деревня рождение чуда в рябининском доме. Но чтобы бирюк Рябинин отхватил городскую кралю, такого деревня ожидать от него не могла и поначалу даже оскорбилась и поджала губы, готовясь оказать достойное сопротивление дерзкому вызову егеря. А вызов не прозвучал, и деревня поняла, что он ей только померещился в гордыне. Рябинин не торопился показываться на людях со своей молодухой, и она ограду его усадьбы, похоже, принимала не как ограду, а заграду, словно менее всего собиралась выходить за калитку, и в крепости плетня видела свое счастье и удачу жизни.

Тропа, что проходила мимо рябининского дома в тайгу, была не единственной и не самой удобной, но в то лето бабы ли шли по голубику, мужики

ли на промысел, мальчишки ли за черемшой, — все выбирали эту тропу, пусть бы пришлось крюк сделать в пару километров, но лишь бы глазом взглянуть на „чужую", языком прицокнуть и посудачить после про то, какой номер выкинул ихний егерь.

Через уйму лет вспоминая об этом, деревня законно могла гордиться, что хорошо отнеслась к чужой, что после того, как привез из города егерь швейную машину, без предубеждения и зависти потащили девки и бабы сундуковые отрезы нэповских времен городской мастерице, и когда получали на руки платья, юбки и кофты не совсем привычного фасона, не фыркали при том и на плату и подарки не скупились.

Прошло немногим более года, и проходящие тропой мужики и бабы уже слышали детский плач в рябининском доме; и деревня не обиделась, что имя своей дочке Иван дал, какого и в помине у них не было, — Наталья.

А когда фигура молодой егерской жены округлилась по второму разу, тогда и появились в деревне милиционеры на конях и увели Ивана Рябинина в город, где пропал он без вести. Казалось, деревня не спускала глаз в тот день и в ту ночь с окон рябининского дома. Когда же утром обнаружилось, что дом заколочен со всех сторон, а калитка даже брусом привалена, все только ахнули. Слухов пошло уйма, нынче большую часть их деревня забыла, но сохранился все же в памяти один упрямый слушок: будто под самое утро следующего дня, как увели егеря, видели на обходной дороге упряжку со скарбом, на котором будто сидела в слезах егерская жена с ребенком на руках, и какой-то мужичишка, подстегивая гнедую кобылу, утешал ее грубыми словами.

Селиванов уже обогнул последний дом, то есть предпоследний, потому что последним за густым рябинником был дом, куда он и направлялся и куда так старался не торопиться.

Что-то не припоминал Селиванов когда-либо в себе такого волнения, что охватывало его с каждым следующим шагом к рябининскому дому. За всю жизнь никакая удача и никакой страх (а страх в жизни знавал он не раз) не трясли так его руки и не схватывали так дыхание, что хотелось сесть на землю. Увидев в стороне от тропы березовую колодину, он шагнул к ней, потыкал тростью, ковырнул прогниль внизу на тот случай, не залежалась ли там гадюка (любит эта тварь гнилые березины), и присел, уже не притворяясь, а захлебываясь одышкой, какую с тихого хода и получить невозможно.

Было бы правильно посидеть здесь и повспоминать, что стоило вспомнить, прежде чем переступить порог чудом ожившего дома. Но Селиванову в этом нужды не было, потому что он ничего не забывал. Сейчас память била его по глазам отдельными, не связанными друг с другом видениями; связь-то между ними была, но где-то отдельно, существовала сама по себе: она, эта связь, была самой жизнью, которую Селиванов знал помимо памяти. И было бы чистой ложью назвать дальнейшее повествование воспоминаниями Андриана Никаноровича Селиванова, потому что воспоминания, даже в самом подробном и добросовестном пересказе, и меньше и больше того, что было в действительности: не все чувства подвластны слову и не все происходящее доступно чувству; что-то обязательно остается за его пределами, как бы назначенное чувству другого, кто при том присутствовал или присутствовать бы мог.

2

По зимней засугробленной тайге бежали два человека. Один догонял другого. Убегающий был невысокого роста, щуплый, пронырливый и в этой погоне вполне походил на добычу, уходящую от рук настоящего охотника, каковым был догоняющий, — высокий, широкоплечий, кряжистый, силы и выносливости неисчерпаемой.

Со стороны бы взглянуть, погоня на погоню едва ли походила, потому что в походке убегающего, во всех его движениях, даже в ритмическом хлопанье камусов по снегу сквозила озорная уверенность в том, что он уйдет; догоняющий так же был уверен, что догонит, потому что был таежником в том возрасте, когда еще не имел случая узнать предела своих сил, и они ему казались беспредельными. „Беги, беги! — бормотал догоняющий. — Далеко не убежишь, сучок трухлявый!" — „Давай, давай! — хихикал убегавший, озорно оглядываясь. — Ловил рогатый косого, да окосел от натуги!"

Однако при всем том одному из них во что бы то ни стало нужно было уйти, а другой, хоть сто верст бежать, решил догнать, потому что второй такой случай не скоро представится.

Два сезона подряд делал набеги Андриан Селиванов на участок егеря Ивана Рябинина и вот наткнулся-таки на хозяина. Два сезона выслеживал егерь ловкого браконьера и хулигана и подловил, наконец, с поличным. Это „поличное" лежало в вещмешке, что мелькал теперь перед глазами егеря то в пятидесяти, то в ста шагах, а один раз — так и рукой схватиться... да переломил Селиванов ветку и кинул на лыжню.

Селиванов бежал по целине, егерь — по его следу,

но преимущества в том не было: рыхлый снег заваливал лыжню с краев и не давал скольжения.

Селиванов к тому же путь выбирал по мелкому березняку, где сам шел вполунаклон, как мышь проскальзывая под ветвями.

Рябинин прикладом и стволом карабина расчищал путь, не всегда, однако, успевая увернуться лицом от хлесткой пружинистой ветки, а если и боли при том не ощущал, то все же терял в скорости, наверстывая упущенное на чистом склоне и на твердом насте.

Селиванов надеялся оторваться от егеря в березняке на последнем спуске и уйти в деревню, где по неписаным законам кончалась власть егеря и его права на человека тайги.

Рябинин же, догадываясь о намерениях браконьера, доставившего ему столько хлопот за два сезона, уверен был, что нагонит его в поле перед деревней, и обязан был это сделать, потому что хотя и был его закон главнее закона деревни, и мог бы он запросто взять Селиванова с поличным в его собственном доме, и никто не посмел бы помешать ему, и даже на вражду, что возникла бы следствием этого со стороны мала и велика, наплевать бы мог, — да не в том было дело. Взять Селиванова до деревни и привести его туда за шиворот и, может быть, даже отпустить, ткнув раз-другой мордой в снег — он должен смочь, иначе какой ему почет в его деле? Была еще одна причина особой злости егеря. Селиванов пакостил не везде на участке, а именно в его личных, егерских, владениях. На своих солонцах обнаруживал Рябинин следы Селиванова, в его, егерской, избушке-зимовье внаглую разделал Селиванов запрещенного к отстрелу изюбря, и даже следы не замел и не прибрал за собой — точно фигу под нос сунул. Мощные рябининские

кулаки давно чесались на Селиванова.

Друг от друга на сотню шагов преодолели они последний небольшой подъем, после чего через километра полтора должен был начаться спуск по березняку, и Селиванов пошел на отрыв. Отмахиваясь прикладом еще отцовского „Зауэра" от веток, пригнувшись в пояс, выбирая самые густые заросли березняка, не оглядываясь, весь собранный для рывка, он, как казалось ему самому, головой шел впереди своих камусов. Спуск начался круто. И он пошел вниз петлями, зигзагами, круче заворачивая повороты и швыряя за собой при случае ветки, чтобы егерь на скольжении вылетал из лыжни. Когда же спуск на время прервался небольшой лощинкой, он оглянувшись, довольно крякнул: егерь отстал.

Но тут, в этой лощине с метровыми сугробами и в два обхвата поднебесными соснами, судьба сыграла с ним худую шутку. Именно так, потому что сам он никакой ошибки не допустил, сугробовые ловушки обходил верно и завал этот проклятый обогнул в двух метрах, не менее. Но кто мог знать, что какая-то подлая ветка свалилась с сосны по слабому зимнему ветру и, присыпанная снегом, залегла бичевой-ловушкой внутри наста. Одна нога зацепилась, другая по инерции прошла верхом, и Селиванов, словно в петлю попав, завалился носом в сугроб. Пока поднимался — время, пока отряхивался — время! А попробуй протащить камус назад против шерсти! И егерь уже рядом, хотя и не виден в березняке, только треск веток да шорох по снегу.

В конце концов мог Селиванов успеть: снять вещмешок и закинуть проклятую шкурку в снег, или затоптать и отбежать от этого места метров на

сто-двести, пока настиг бы его егерь. Но Селиванов сызмальства боялся побоев. В тайге не боялся ни медведя, ни рыси, ни ночи, ни непогоды. Но отцовские побои, но кулаки парней-односельчан и даже случайная зуботычина по пьянке переносились им как болезнь и тела и души. Даже на чужую драку не мог он смотреть без страха и трепета. Может, оттого сторонился людей, может, оттого стала ему тайга милым домом, где пропадал он и лето и зиму.

А сейчас, представив себя один на один с этим кабаном-егерем, который еще мальчишкой один вытащил из болота корову за рога, Селиванов задергался, заметался и, высвободив, наконец, ногу из плена, кинулся к толстущей сосне.

— Не подходи! — закричал он визгливо, когда Рябинин вывернулся в лощину с последнего поворота. — Не подходи! Шлепну!

— Я тебе! — попридержав дыхание, с угрожающим спокойствием, но громко ответил егерь, и от такого его голоса у Селиванова подогнулись ноги.

— Шлепну!! — крикнул он надсадно и нажал спуск „Зауэра", не целясь и не успев даже прижать приклад к плечу. Отдача кинула его за сосну, и он чуть было не потерял равновесия, а когда выглянул, увидел егеря, барахтающегося в снегу.

— Таки шлепнул! — изумленно прошептал он, готовый шагнуть вперед, но из-за сугроба темным зрачком глянуло на него дуло егеревского карабина. Отшатнувшись за сосну снова, он не столько вздрогнул от выстрела, сколько от того, как вздрогнула громадина-сосна, получив пулю в свой промерзший ствол. Он выглянул с другой стороны, и на этот раз пуля, зацепив по краю щепу, осколками хлестнула его по лицу. Он лихорадочно соображал: стрелял в егеря из левого ствола, стало быть, картечью... не целился, значит, если зацепил,

то не более одной или двумя картечинами, а может быть, не зацепил вовсе, и тот просто залег, хотя и не похоже на него.

— Эй! — крикнул он, не высовываясь.

Ответом снова был выстрел, но на этот раз сосна не дрогнула.

— Да погоди ты пулять-то! — крикнул он громче, пригнулся к самому снегу, снял шапку и выглянул одним глазом.

Рябинин пытался подняться, одной рукой держа винтовку наготове, но вскрикнул и снова упал на снег, провалившись так глубоко в сугроб, что ствол винтовки уперся в небо.

— Зацепил! — прошептал Селиванов, еще никак не относясь к этому факту и лишь собираясь обдумать его. Барахтающийся в сугробе егерь походил на медведя, вылезающего из берлоги, и Селиванову снова стало страшно: он вскинул ружье на руки, но тут же шмыгнул за сосну — дуло выравнивалось, и над сугробом появилась голова Рябинина; даже его лицо, перекошенное то ли от злобы, то ли от боли, успел рассмотреть Селиванов.

— Эй, слышь, поговорим! — крикнул он просяще.

— Я те поговорю, гад! — прорычал в ответ Рябинин и выстрелил.

— Чего без толку патроны переводишь? Куды я тебе зацепил-то?

Рябинин молчал, левой рукой пытаясь дотянуться до бедра, в котором где-то застряла (или прошила насквозь) селивановская картечина. Будто спица проткнула ногу и торчала из нее, не позволяя подняться на камусы, ушедшие в снег на всю глубину сугроба.

— Слышь, давай поговорим! — крикнул снова Селиванов. — Куды зацепил-то? Ну чо молчишь! Не убиец же я! С испугу шлепнул!

— Высунешься, и я тебя шлепну! — глухо ответил егерь.

— Встать-то не можешь, что ли? — спросил Селиванов, стараясь придать голосу сочувствие, но поскольку говорить приходилось громко, вопрос прозвучал издевкой.

— И ты не уйдешь! — зло ответил Рябинин, дотянувшись, наконец, рукой до раны и ощутив кровь.

— Мне-то чего не уйти! — кричал Селиванов. — Так и уйду за сосной!

Сообразив, что, прикрываясь сосной, Селиванов действительно может уйти, егерь от отчаяния выстрелил два раза подряд и заворочался, доставая из подсумка другую обойму. Но Селиванов считал его выстрелы, и не успели щепки упасть на снег, как он выскочил из-за сосны и бросился к Рябинину. Уже держал егерь обойму в руке, уже опростать успел патронник, но Селиванов опередил. Когда винтовка вырвана была из рук, Рябинин, дернувшись всем телом, вскрикнул и перекосился.

— Гад! — прошептал он, глядя на сидящего в двух шагах от него Селиванова.

— Ежели ты помирать хочешь, твое дело, — спокойно, чувствуя себя, наконец, хозяином положения, говорил Селиванов. — Если не хочешь, давай уговор делать! И не ерепенься попусту! Не хотел я тебя убивать! Да ведь если б ты догнал меня, все зубы по снегу раскидал! Не так, что ли?

— Чего хочешь? — зло спросил Рябинин.

— Ногу зацепил?

— Чего хочешь? — повторил егерь.

— Чего? Перевязываю тебе ногу, тащу до дома, лечу — как на собаке заживет! А ты мне зла не делаешь.

— Ты меня — картечью, а я тебе зла не делать!

— Оба жить будем, — пожал плечами Селиванов

и добавил неуверенно. — Ну, если скажешь еще чего сделать... деньжата у меня найдутся... или чего другого...

Взглянул исподлобья на Рябинина.

— Хошь, служить тебе буду, чем хошь...

— Режь гачу!

Селиванов вскинулся, сбросил с ног камусы, проваливаясь выше колен, подошел к егерю, снял у него со спины вещмешок, растоптал вокруг снег, перевернул его на спину и осторожно ощупал ноги.

— Тут?

Рябинин поморщился.

— Ляжку прошило? А встать-то почему не можешь? Должон встать! — рассуждал Селиванов, деловито и осторожно вспарывая штанину ножом и косясь на красное пятно на снегу. Картечина прошила ляжку наискось и вышла сбоку рваной раной. Рябинин хотел было приподняться и взглянуть на рану, но Селиванов не позволил, легким толчком откинув его на спину.

— У, гад! — еле сдерживая злобу, прошептал егерь, отворачиваясь от Селиванова.

— Ладно, ругайся! — пробубнил тот, разрывая какую-то тряпку повдоль и подкладывая ее снизу на выходную рану. — Оно, конечно, ничего доброго — шлепать своего мужика, да говорю ж, с испугу! Эвон, сравни-ка свой кулак с моим! Тузить бы начал, так печенку отбил бы, кровью, чай, харкал бы! А я тебе сейчас смоляну приложу, и дырки после не сыщешь... Через неделю козлом прыгать будешь! Терпи, затягивать буду!

Ни на слова его, ни на действия егерь и ухом не повел.

— Рукавицы дай! — буркнул он. — Руки замерзли!

Селиванов хотел было подать рукавицы, что валялись на снегу, но, выщупав их сырость, подал

свои. Тот попытался натянуть их.

— Мне твои наперстки знаешь на что натягивать! — и откинул их в сторону, дыша на пальцы.

Селиванов достал из своего вещмешка соболиную шкурку, распрямляя, сломал ее в нескольких местах; делал это с подчеркнутой небрежностью: дескать, плевать он хотел на шкурку. Выгнул ее на обе руки егеря, потом снял с него шапку, стряс снег, надел снова, плотнее прикрыв уши.

— Хоть ты и здоров как кабан, а слабак! — говорил он при этом. — Дырка-то у тебя пустяковая, я б с такой дыркой со следа не сошел! А ты вот валяешься, как колода...

Договорить не успел. Егерь схватил его за полу шубы, одной рукой подтянул, другой перехватил за шиворот, молча дважды ткнул лицом в снег по самый затылок и отшвырнул от себя. Отряхиваясь и отплевываясь, притворно кашляя и чихая, Селиванов отполз подальше и только тогда жалобно и обидчиво заохал:

— А уговор-то как? Тут мордой об снег, а домой притащу — мордой об забор, да?!

Рябинин пытался встать, но что-то в ноге было основательно нарушено, она не слушалась. Зло выругавшись, он снова упал на спину.

— Ну так чего? Будешь драться али нет? — сердито спросил Селиванов.

— Хватит с тебя! Костер пали, замерз я!

— Вот так-то лучше! — закивал довольно Селиванов.

Вытоптав еще полянку в метре от Рябинина, начал набрасывать ветки и щепу, и скоро на этом месте заработал небольшой костер. Егерь потянулся к нему.

— Жилу ты мне попортил какую-то, гад! Не дай Бог, хромать буду!

— Не будешь, — махнул рукой Селиванов. — Сейчас свяжу волокушу и поедем до дому. Корнем тебя поить буду. У тебя-то, поди, такого корешка нету. А ведь ты супротив меня как охотник — хе! Смех! Вот бы мне егерем быть, уж я б мужичкам закон показал! Я сызмальства в тайге, я такое про тайгу знаю, чего ты и не слыхивал и не нюхал.

— Трепло! — уже без злобы ответил Рябинин.

— Ишь ты! — обиделся Селиванов. — А кто два сезона соболя у тебя из-под носа таскал!

— Куда шкурки деваешь? Почему не сдаешь, как положено? — хмуро спросил егерь.

— А кем же положено, Ваня? — прикинулся незнающим Селиванов.

— Властью, кем!

— Как твой отец, не знаю, а мой — так он своего отца помнил и деда, и все они тайгой жили, а власти никакой на тайгу не было! Жили и все! А потом — на тебе, власть появилась и говорит: „Мое!" А почему это ее, когда прежде всегда наше было? А на эту власть другой власти нету, чтобы право наше рассудить!

— Власти не признаешь? — покосился Рябинин.

— Я сам по себе, власть сама по себе! — прищуриваясь, ответил Селиванов.

— Ну и что, разбогатеть хочешь?

Селиванов ответил вопросом на вопрос:

— А вот ты чего не женишься? Слышал, в Рябиновке девки на тебя никак хомута не сыщут...

— Не твое дело!

— Во! Значит, не каждому про все знать положено!

— Перетрухал, когда в меня пальнул-то? Человека стрелять — не изюбря, а ?

Селиванов хитро и плутовато сощурился.

— Мне, Ваня, людишку шлепнуть — это как

палец обо... ть. А вот человека, оно, конечно, убивать страшно! Только я ж не в тебя пальнул, а так, со страху. Картечь вразброс пошла, вот тебя и зацепила. Кулаков твоих я шибко испугался. Знаю ведь, какая лютость у тебя на меня имеется! За того козла, что в твоем зимовье распотрошил, за одно это ты бы мне глаз на сучок одел.

— Точно! — уверенно подтвердил егерь. — Для чего пакостил? Или не знал, что за такие дела полагается?

— Сам не знаю, чего охульничал, — не очень искренне ответил Селиванов. — Ну, я пойду волокушу вязать. Да и время уже позднее. Тебя тащить — не мед будет. Торопиться надо!

Нарубив достаточно двухметровых веток, он выложил их ровно на снегу, по середине и по краям перемотал тонкими березовыми прутьями и обрывками веревки, по бокам пристроил рябининские камусы, приспособил веревку-лямку, использовав для того даже ружейный ремень. Закидал костер снегом и, наконец, подошел к егерю.

— Тронем, Ваня! Одень рукавицы, подсохли, поди!

Он опустился на корточки перед Рябининым, и тот, обхватив его за плечи, вместе с ним поднялся на здоровую ногу. Селиванов закряхтел.

— Ох, и тяжел же ты, не меньше шести пудов! Я вот больше четырех никогда не вытягивал, даже с обжорству...

До волокуши было нормальных два шага, но преодолели они их еле-еле, и когда Рябинин неуклюже, боком, свалился на волокушу, Селиванов, выпучив глаза, вздохнул облегченно.

Положив рядом с егерем оба ружья и закрепив их, он пристроил под голову Ивану оба вещмешка и, звонко высморкавшись, накинул лямку на

грудь. Напрягся, рывком сдвинул волокушу с места, остановился и довольный повернулся к егерю.

— Осилю, значит! А будь бы дело летом али на подъем...

Он покачал головой и, согнувшись чуть ли не пополам, двинулся с места. Волокушу тащил вдоль ложбины, в обход березняка, на который вывел егеря в надежде оторваться от него. Теперь березняк был препятствием, по нему не пройти с поклажей, но Селиванов места знал до каждого пня, и вскоре от ложбины вниз открылась не то просека, не то дорога летняя, а теперь — под снегом и без следов. На нее и свернул свой путь Селиванов. Когда же спуск стал крут, скинул лямку с плеча и лишь чуть-чуть подтягивал волокушу, с трудом удерживаясь от скольжения. Волокушу заносило боком, зарывало в снег, несколько раз Рябинин сваливался с нее, и тогда Селиванов бесцеремонно, не обращая внимания на ругань егеря, заваливал его катом на прутья и тащил дальше.

Когда спуск кончился и открылось поле, и деревня завиднелась вдали, взмокший Селиванов остановился, скинул шапку, расстегнулся и сел на снег, охая и постанывая. Егерь тоже облегченно посматривал кругом, морщась от боли, стряхивая с лица снег, таявший холодным потом.

— Это что! — хвастливо залепетал Селиванов. — Вот когда я в двадцатом с Чехардака папаню своего волок с простреленными грудями! Вот тогда была работа, я тебе скажу. Две гривы тащил живого, а две — уже мертвого. Нет, чтобы взглянуть в глаза — пер как дурак. Ведь слышал же, что он стонать перестал, а все тащил. Молодой был совсем, глупый... Уж как обозлился, что покойника тащу!

— Кто это его? — без особого интереса спросил Рябинин.

— Кого?

— Отца, кого еще!

— Его-то...

Селиванов пошмыгал носом, покосился на егеря.

— Да было такое дело...

— Не хошь, не говори! Тащи давай, а то замерзну.

Деревня Лучиха, где жил (или считалось, что жил) Селиванов, была в десяти километрах — ниже по речке Ледянке — от Рябиновки, стоящей немного в стороне, но не на той же дороге. Дорога же шла в Кедровую и далее — на Байкал и Иркутск. Уходя от егеря, Селиванов, понятное дело, шел на Лучиху, хотя до Рябиновки было ближе. Но не в егерской же деревне было ему искать спасения — там местные мужики, как бы ни были злы на своего егеря, за чужого не заступились бы. И теперь, значит, Селиванов тащил егеря в „свой" дом, купленный Селивановым несколько лет назад. Необжитый, не подновленный, как положено, он лишь числился за Селивановым, зиму и лето живущим в своих потаенных зимовьях.

В кооперативе, где приписан был Селиванов, давно махнули на него рукой, в основном рукой председательской, не отсохшей от щедрости рук селивановских. Подслеповатый, хромой, боящийся тайги, как черт ладана, председатель кооператива был дюже силен в бухгалтерии и особенно по части меха. Он не только понимал мех, но питал к нему созерцательную любовь, которую Селиванов презирал, но изрядно поощрял по мере возможности и надобности. Надобность же была простая: чтоб жить не мешали, на участок его не совались, чтоб никому не было до него дела. Потому что вся радость жизни Селиванова состояла в том, чтобы

жить по своему желанию и прихоти, ходить в тайге лишь по своим следам или, по крайней мере, чтоб никто по его следам не шатался...

Селиванов любил власть и хотел ее, но не над людьми, чьи души путанее самых запутанных троп. Люди непостоянны и ненадежны, с ними нельзя быть спокойным и уверенным, среди них — будь настороже, а то враз обрушится на тебя, что ненужно и хлопотно.

Другое дело — тайга! После лета всегда осень, а зимой — снег, и никак по-другому. Здесь, ежели по тропе идешь, можешь о ней не думать: не подведет, не свернется кольцом, не вывернется петлей, а если уйдет в ручей на одном берегу, на другом непременно появится, да там, где положено. А язык?! Его среди людей держи в зубах, потому что одни и те же слова по-разному поняты могут быть, и вдруг прищурятся глаза, губы сожмутся, и вот — уже опасность. Напрягайся, чтоб избежать ее: хитри, ловчи, притворяйся, уступай-не уступай, беги или оставайся, а зачем все это?

В тайге же человек всегда только вдвоем: он и тайга; и если язык тайги понятен, он с ней в разговоре — бесконечном и добром.

В тайге Селиванов пьянел от власти, потому что там не было ничего ему неподвластного, и власть эту не нужно было утверждать каждый раз заново, когда возвращаешься: просто приходи и вступай во владение. На зверя у тебя — стволы, на дерево — топор, на шорохи — уши, на даль — глаза, на красоту — радость, а на опасность — умение.

Когда дорога от людей где-то превращалась в тропу, а тропа, сужаясь, становилась тропой одного человека, ее создателя и хозяина, когда лес за человеческим жильем становился тайгой (а переход этот незаметен и необъясним), Селиванов, обычно

до того всегда шедший молча, глубоко и радостно вздыхал и произносил: „Дождя б не было!" или „Ничего погодка нонче!" Говорил он это просто так, не вникая в смысл сказанного, но громко и облегченно, словно получал, наконец, право вольного голоса и свободы.

Давно миновало то время, когда огорчали его неудачи на охоте, когда он даже ружье мог кинуть на землю и браниться вслед ускользнувшей добыче. Теперь о том вспоминать было смешно. Теперь если, к примеру, белка прыгнула раньше выстрела и ушла по деревьям, уводя за собой собаку, Селиванов улыбался ей вслед и думал о ней с уважением, даже собаку мог вернуть свистом громким и резким и приказать: „Пусть живет, ищи другую! Мало ли глупых то!" И если даже ценный и нужный зверь уходил от него, все равно не было в том неудачи, потому что это ведь удача — встретить зверя хитрее себя. И в этом — интерес.

Уважая тайгу, признаваясь себе в этом (он просто не знал слова „любовь"), Селиванов не уважал людей. А суету их, что развели они за пределами тайги, в тесном и шумном мире, презирал даже, полагая, что ему лично повезло родиться тем, кто он есть, и там, где он есть, хоть не повезло ему в теле и в росте. Но и то выходило к лучшему, потому что будь он эвон таким битюгом, как Рябинин, разве удержался бы от соблазна вступать с людьми в спор, не соблазнился бы мощью своих кулаков да голосом зычным? Ведь честолюбие — грешок этакой — разве не знал его за собой?!

Все так! Но вот Рябинин. Когда Селиванов увидел его впервые, сумрачного и крепкого, как кедр-дубняк, он, этот егерь, заинтересовал его сразу. В интересе была странная ревность, близкая к зависти, и это незнакомое и неприятное чувство на-

чало все чаще и чаще гонять Селиванова на участок егеря; оно же заставляло делать маленькие пакости поначалу, а потом толкнуло уже на открытый вызов и соперничество, которое завершилось теперь селивановской картечиной.

Может, будь Селиванов откровеннее с собой, признался бы, что давно жаждет иметь товарища, которому можно многое рассказать и которого интересно послушать. Но к такому товарищу заранее предъявлял множество требований: должен был он обладать такими качествами, которые в одном человеке редки, а может, и вовсе не бывает таких сочетаний: чтоб человек был силен и добр, верен и надежен, умен и не болтлив, чтобы умел быть близким и не надоедал, чтоб нуждаться в нем, но не зависеть, чтобы не опасен был человек для твоего спокойствия — вот что главное.

С отцом, когда тот был жив и они вдвоем шастали по тайге, было стеснительно. Отец был человек жестокий и суровый, душевности между ними не было, власть его тяготила и сковывала жаждущего самостоятельности и свободы, рано осознавшего себя взрослым Андриана, единственного сына своих родителей. Что-то брезгливое и презрительное было в отношении отца к хилому и худосочному сыну; может, потому не слишком переживал Селиванов смерть его (мать умерла еще раньше), и не только не испугался своего одиночества, но напротив, обрадовался ему как обретению свободы и великих прав на тайгу и на жизнь, и на все, что давала жизнь в тайге.

Было двадцать четыре года ему, когда публично осмеяла его рябая девка Настасья, и с тех пор больше никогда не приходила в голову мысль о женитьбе. Как-то так получалось, что каждый раз, если испытывал он мужское томление, бежал в

тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) такую охотничью загадку, которая выматывала его до полной утраты всех сил, в том числе и мужских; и когда после, уставший и размягченный, засыпал он на нарах в зимовье, баба могла присниться с четырьмя ногами и с рогами изюбра на голове; и он уже никаких иных желаний не имел, как шлепнуть ее из обоих стволов вразнос крупной картечью.

Мудрое и великодушное властвование, которого жаждала его душа, Селиванов осуществлял по отношению к собакам. Их всегда было у него две: кобель и сука. Обученные всем таежным премудростям, прирученные ко всякому домашнему пониманию, всегда в меру кормленные и ухоженные, — они были гордостью его и источником побочного заработка. Щенки их ценились в деревнях на несколько шкурок соболей, а заявки на них Селиванов получал на две вязки вперед. Сколько бы щенков ни принесла сука, он оставлял жить не больше пяти, для сбережения славы отбирая самых крепких и здоровых. Время собачьей любви было для него праздником. Когда подходил день вязки, он забирался с собаками в самое дальнее зимовье, по делам не ходил, кормил, кобеля особенно, до отвала заранее заготовленным мясом, а утром того дня, когда все должно было свершиться, ласков к собакам был по-матерински; и все происходило на его глазах, с его одобрения и при его поощрении; когда же уставшие и довольные собаки, тяжело дыша, расстилались у его ног, он гладил их, и хвалил, и ласкал, и приговаривал что-то такое, что только очень любящие люди говорят друг другу, и то редко. Ну, а во время родов собачьих все человечество могло встать вокруг тайги, во сколько рядов получится, и уговаривать его в один го-

лос прийти и царствовать на земле, — он бы и ухом не повел! Так, по крайней мере, он сам говорил себе вслух, сидя на корточках около рожающей суки.

И хотя человечество не вставало вокруг и ни к чему Селиванова не призывало, тем не менее, оно покушалось на таежную тишину, врывалось в нее агонией своей суеты и пустоделицы.

Убили отца. Потом замахнулись на него самого, Андриана Никанорыча Селиванова, но споткнулись. Он постоял за себя. Он выжил, чем не может похвастаться кое-кто другой. И пусть пришлось хитрить, и следы заметать, и прикидываться ихним, и грех свершать тяжкий, а волю себе он все-таки выхитрил и остался как он есть — сам по себе.

Только что говорить: с годами стала нет-нет да заползать в душу тоска. Она-то и свела однажды тропы Селиванова и Рябинина в перехлест и переплет.

Упираясь камусами в снег, тащил он нынче раненого егеря в свой холодный и нежилой дом, и было у него такое чувство, что как плохо ни получилось, все оно к лучшему, и что тащит он к дому не беду, а удачу, почти добычу, о коей мечтал втайне и домечтался. Рану рябининскую Селиванов всерьез не принимал. Что ему, бугаю такому, какая-то дырка в ноге! Но зато повязаны они будут друг с другом словом и тайной.

— Замерз, али нет? — крикнул он егерю, обернувшись, но не останавливаясь.

— Тащи!

— Тащу! — радостно взвизгнул Селиванов.

До дома добраться он рассчитывал потемну, так и получилось. На всякий случай сделал крюк за огородами, чтоб не нарваться на людей. Оставив егеря на волокуше, открыл избу, зашел, зажег

лампу, а затем уже вернулся за Рябининым и ахнул, увидев того на ногах.

— Отошло никак, — сказал Рябинин, делая пару шагов к крыльцу. Селиванов подскочил на всякий случай поближе, вытянув руки вперед, готовый подхватить.

— А я чего говорил? Пустяковая дырка! С ей плясать можно. Судорога у тебя была! На крыльце-то осторожней, доска сгнила...

Все-таки изрядно припадая на ногу, Рябинин поднялся на крыльцо, прошел сени ощупью. Перешагивая через высокий порог, егерь покачнулся и заскрипел зубами. Сняв с него заснеженную шубу, Селиванов провел его к кровати, усадил, осторожно стянул с раненой ноги валенок. При этом заглядывал ему в глаза и морщился, будто и сам боль испытывал. На руках его осталась кровь.

— Опять пошла. Сейчас мы ее придавим насовсем. Только теперь уж лежи и не вставай!

Раскрыл громадный, в обручах, сундук, что стоял у печки, достал тряпки, разрезал на бинты. Потом разбинтовал ногу, присыпал рану смоляной пылью, забинтовал и завязал распоротую штанину.

В доме было холодно, как на улице. От дыхания пар стелился по избе и белым туманом тянулся к лампе, которая нещадно коптила сквозь нечищенное, надтреснувшее стекло. Набросав на егеря всяких одежд, что нашлись в доме, сам, не раздеваясь даже, принялся за печь, что никак не хотела разгораться, дымила и шипела, но сдалась упорству хозяина и защелкала полусырой березой. Самовар разжегся гораздо быстрее и охотнее, хотя дыму напустил еще больше.

Изба казалась нежилой, да такой и была. Состояла всего из одной большой комнаты, с русской печью посередине, а все прочее — громадная кровать

с никелированными спинками и фигурными шишечками на них (не иначе как привезенная из самого Иркутска), стол на граненых ногах, сундук, лавка, две табуретки, комод самодельной и грубой работы и даже самовар — все это осталось от прежних хозяев. Ничего за эти годы не привнес в дом Селиванов, а напротив, отсутствием своим лишил его души, и дом стал вроде не домом, а лишь стенами с потолком и полом, да окнами, ставнями закрытыми.

— Как бродяга живешь... — угрюмо сказал Рябинин, осмотревшись вокруг.

— А я и не живу вовсе, — ничуть не обидевшись, ответил Селиванов.—Положено для порядку дом иметь — вот и имею! Говоришь, власть не признаю? Власть не признавать — это что сс... против ветру! Хочет она, чтоб я приписан был, так чего ж, это я могу!

— Тайга тайгой, — с сомнением ответил Рябинин, — а дом домом. Домá не эта власть придумала! В тайге насовсем только зверь жить может.

— А я и есть зверь! — захихикал Селиванов, подбрасывая в печку дрова, щурясь от пламени и греясь в нем. — Ты видел когда-нибудь, чтоб медведь медведя насмерть драл? И я не видел. А вот в Рябиновке болтают, что твой батя против своих сыновей воевал. Может, друг друга и положили в землю... Так чего ж про зверя говорить. У него закон есть, и против этого закону зверь — и захоти — пойти не может, потому как само его нутро по этому закону сотворено, а против нутра не попрешь! А у человека что? Он — сам по себе, закон — сам по себе, каждый норовит свой закон установить. По мне, так пусть бы лучше меня промеж зверей прописали.

Рябинин усмехнулся.

— Ты б тогда царем зверей был!

— И то! — охотно согласился Селиванов.

Ухватившись за ржавое кольцо, он рывком открыл подполье, некоторое время всматривался в его темноту, потом, пружиня локтями, спустился и долго шебаршил там и кряхтел. Над полом появилась его рука с бутылью, потом она же — с банкой, по горлу тряпкой перевязанной, потом возник ломоть сала, не менее восьми фунтов весом, и лишь напоследок обозначилось довольно ухмыляющееся лицо Селиванова.

— Жить не живу, но заначку всегда имею!

Когда в доме стало теплей и уютнее, на расставленных у кровати табуретах они трапезничали, согревшиеся и даже разогревшиеся от перестойного самогона; и никто, взглянув на них в эти минуты, не поверил бы, что всего лишь несколько часов назад были они лютыми врагами, палили друг в друга из ружей и кровь одного из них пролилась на белый таежный снег. Правда, Рябинин был хмур, в голосе держался холод и в глазах, при свете коптившей лампы, нет-нет да вспыхивали гневные огни. Но Селиванов каждый раз беззащитно и простодушно вглядывался в них, и они притухали, уходя вглубь, и холод таял усмешкой. И хоть усмешке и хотелось быть обидной для собеседника, да не получалась таковой, потому что собеседник охотно принимал ее как должное, и даже радовался ей, понимая ее как свою победу, как удачу, ибо разве это не удача, не чудо — получить друга через кровь его! Никакой самый тонкий замысел о дружбе с Иваном Рябининым не мог бы получить такой оборот. А теперь у Селиванова была радостная убежденность, что все свершилось: егерь никуда от него не денется, весь принадлежит ему, потому что он хитрее этого молчуна-бугая и не выпустит

его, не утолив своей тоски по другу.

От этой уверенности переполнялся Селиванов желанием не просто услужить Рябинину чем-либо, но быть ему рабом и лакеем, стирать исподнее или загонять зверя под его стволы вместо собаки; он просто горел страстью выложиться до последнего вздоха в какой-нибудь баламутной прихоти егеря. Скажи тот ему сбегать на участок и принести снегу с крыши зимовья, чтобы лишь раз языком лизнуть, — побежал бы радостно, помчался, это ему по силам, баловство такое! Но знал Селиванов, что всегда будет иметь верх над егерем. Словно сильного и благородного зверя к дружбе приручал, а сам обручился с силой его и благородством. Сознавая корысть свою, совестью не терзался, потому что готов был оплатить ее всем, что выдал ему Бог по рождению и что выпало ему по удаче.

— Шибко полезным я могу тебе быть, Иван! — говорил он с откровенной хвастливостью.

— Нужна мне твоя польза, как косому грабли! — отвечал Рябинин тем тоном, который потом уже навсегда установился в его голосе по отношению к Селиванову и который тот принимал и даже поощрял, чтоб сохранить в егере уверенность в независимости и превосходстве.

— Э-э-э! Не торопься! Мужики, к примеру, тебя вокруг носу водят. А как я тебе все их подлости покажу, они козлами завоют!

— Ишь ты! — презрительно ухмыльнулся Иван. — Мужиков не любишь! Чем они тебе помешали, что давить их хочешь?

— Мне, Ваня, никто помешать не может! Только презираю я их. Ни смелости в их нету, ни хитрости — покорство одно да ловчение заячье! Им хомут покажи, а они уж и шеи вытягивают, и морды у них сразу лошадиные становятся! А власть нынеш-

няя — как раз по им. Она, власть-то, знает, какой ей можно быть и при каком мужике, где руки в ладошки, а где и пальцы врастопырь!

— Ты кончай про власть! Не твоего ума дело. А что про мужиков, так ты-то чем лучше? Чего бахвалишься?

Они пили чай смородинный и прикусывали сахар, наколотый селивановским ножом. Селиванов еще косился на недопитый самогон, но егерь интересу более не проявлял, и пришлось себя сдерживать. А способен был Селиванов в тот вечер не у одной бутылки донышко засветить и умом не замешкаться. Накопилось у него в жизни много чего, чем похвалиться можно, да опасная та похвальба была бы, а нетерпение шибче, и вот еще б самогончику для пущего разгону.

— Ты, Ваня, карту смотрел, которая всю нынешнюю власть показывает? Нет? А я видел в сельсовете! Таких, как наша тайга, тыщу раз в ряд уложится! Во сколько завоевали! Какие армии вдрызь разбились об эту власть, сам знаешь! — Хитро прищурился Селиванов, словно к прыжку отчаянному готовился. — Нда... А вот Чехардак, Ваня, всего промеж трех грив размещается, его-то не смогли завоевать...

Он держал кружку с чаем у губ, но не пил, а хитро и многозначительно смотрел на Рябинина.

— Чего?

— Не смогли, говорю, отступились! А ведь, кажись, базу хотели ставить, мужиков понагнали с пилами и топорами! И что?

— Это ты про банду?

Селиванов просто трясся от нетерпения.

— Не было там банды, Ваня! Банда что есть? Дюжина глупых мужиков-хомутников! Для власти — это орешки! Для власти, Вань, это хлеб с маслом,

когда мужики в кучу собираются; кучей-то они еще глупее, власть на кучах собаку съела! Будь она умней, так указ бы издала, чтоб мужики не иначе как по дюжине вместе спали и ели. А вот ежели один, да умишком не худ... Это как мелкая рыбешка: в крупный невод как ни заводи — все пусто!

Рябинин в изумлении поднялся на локтях, вся хмурость с лица спала, ногой раненой шевельнул и боли не почувствовал.

— Неужто ты?!

Селиванов сиял.

— Один?!

— Угу — отвечал Селиванов.

— Ежели не врешь, знаешь, куда тебя надо за такое дело!

В голосе Рябинина было больше изумления и сомнения, чем угрозы, но Селиванов затрепетал, а остановиться уже не мог.

— Ясное дело, куда — к стенке! Только загвоздочка имеется: у власти тоже своя гордость есть. Думаешь, легко ей будет поверить, что такой мужичишка, как я, ей поперек тропы стал? Доказательства захочет! А где они? Сколько там, в канцеляриях, поди, бумаг про то исписали: дескать, банда такая-сякая, да вдруг ты меня за воротник притащишь! А ежели примут твой наговор, так одна власть другую не то что на смех подымет, а и к ответу призовет!

— Врешь ты все, Селиванов! Трепло ты, не может того быть, чтоб один...

Иван рассматривал Селиванова в упор, словно примерял к тем делам, что сотворились на таежном участке — Чехардаке — несколько лет назад и столько разного пересуду вызвали в народе.

А Селиванов закатился мелким смешком.

— Ага, вот и ты верить не хочешь. Завидно тебе!

Ведь тремя пальцами из кулака покалечить меня можешь, да вдруг такое! А власти-то, ей, думаешь, легче поверить? Вот если ты еще, кроме меня, полдеревни назовешь, да самого себя туда же, вот тогда она всех в землю положит и совестью спокойная будет!

— Неужто ты? — растерянно пробормотал Рябинин.

— Знаешь, если как перед Богом, то, конечно, если ты донос сделаешь, то хоть и не поверят, а изведут меня как бы впрозапас. Только не сделаешь ты доноса, не такой ты человек, а расскажу я тебе все, как на духу, и может, по-другому на это дело посмотришь. Только давай еще хлебанем по маленькой, а?

— После чаю только свинья хлебает! — угрюмо ответил Рябинин.

Селиванов схватил с табурета отгрызанный кусок сала, поднял его перед глазами.

— А чего свинья? Свинья — это сало, по-хохляцки — шпик значит. Так я того, похрюкаю... Хрю... Хрю... Ха... Ха... да хлебану, да свиньей же и закушу!

Пока он хрюкал, наливал, пил, закусывал, кривляясь и гримасничая, Иван глядел на него исподлобья и мучался от того, что никак не мог свои мысли к порядку призвать, к тому же нога затекла...

— Я тебе чайку еще сделаю, — предложил Селиванов, дожевывая сало.

Иван не возражал.

— Если по совести опять же, не решился б я на такое дело, если б не оказия... В папаню моего все это дело клином упирается. — Почесал в затылке. — Ты пей, Ваня, чай тебе сейчас как лекарство! Это, значит, как было. Стояли мы с батей тогда, в двадцатом, в этой, в Широкой пади. Под осень уже дело было... Батя-то мой и от красных и от белых

отмахался и меня уберег. Пущай, говорил, они бьются промеж собой, а наша правда — третья. Так вот и говорил — третья! Ничего был мужик, ага. В тот день, помню солонцы мы с ним новые мастерили; только к зимовью вернулись, вдруг собаки — в лай. Чихнуть не успели, а нам в рожи со всех сторон винты! Белые, стало быть! „Кто такие?! — орут. — Партизаны? Красные?” Я — в сопли, батя тоже ростом присел. Требуют, значит, дорогу на Иркутск, к монголам уходить... С Широкой, сам знаешь, любой ручей туда выводит... Чужие, значит, тайги не знают... Батя, когда языком справился, говорит им: „Любой тропой идите — на Иркут придете!” Подходит вдруг такой высокий, с усами, самый главный из них, смотрит на моего отца, как подраненная лосиха, и говорит: „Нам надо за большой порог кратчайшим путем и до темноты. Выведешь... — тут он оглянулся, подозвал мальчишку-офицера, приказал чего-то. — Выведешь, — говорит, — вот это будет твое! Не выведешь — расстреляю!” — Селиванов поднялся, подошел к стене, снял ружье. — Вот это самое ружье и показал бате. У того так глаза и забегали. Через час, — говорит, — за порогом будете, ваше благородие! Главный в меня пальцем ткнул: „Сын? От мобилизации прятал?” Батя ему то да се. Он махнул рукой. „Сын с тобой пойдет! Обманешь — обоих расстреляю”. Вывели мы их на порог Березовой падью. Я от страху чуть не помер. Шлепнут, думал, чего им, дело привычное! Ан нет! Пришли. Главный ружье бате в лапы. „Пошел, — говорит, — назад!” Назад шли — пулю в спину ждали... Обошлось! К зимовью пришли потемну. Батя полночи с ружьем этим обнимался. — Селиванов погладил ложе, провел ладонью по стволам. — Барское ружье! Ишь чего, серебро раскидали, баловство! А батя

того и обнимался с ним, что знал будто, что попользоваться не придется... Утром только проснулись, за окнами — собаки... И снова нам винты в рожи. Красные, значит. За теми, белыми... Опять же главный батю за грудки, пистолет в зубы. „Где белые?" Батя трясется. „Не знаю", — говорит по глупости мужицкой. А следов-то вокруг! Папироски офицерские... Выволокли нас на свет Божий... Звездачей вдвое больше, чем белых. Главный в кожанке, глаза опухшие, губы синие — как упырь. Батю трясет, ругается... А мне бугай (вроде тебя) руку вывернул наизнанку и тоже чего-то требует. И повели мы их, значит, за белыми той же самой тропой. А белые за порогом заночевать собирались. Я при случае шепнул бате, дескать, постреляют нас первыми, что те, что другие. Батя молчит, а потом шепнул мне тоже кое-что... — Селиванов отнес ружье на место и, уже не спрашивал Ивана, плеснул в кружку самогон. Глаза его блестели, руки тряслись. — На Березовой, знаешь, когда к последнему повороту выходишь, обрыв по леву руку... черемушник там...

Иван кивнул.

— С этого места весь порог просматривается. Они-то ничего не увидели, красные, а мы с батей видим, там они еще. Батя тут меня под локоть, и мы с ним с обрыва и сиганули. Ей-Богу, Ваня, сегодня, когда мой камус за ветку зацепился и я мордой в снег ткнулся, а ты по следу... Два раза в жизни я такой страх имел... До самого низу батя молча бежал, а когда уже ушли, почитай, батя вдруг как заорет: „Попали, ой, попали!" Я к нему. А он стоит на коленях и орет, и ружье дареное обнимает. Потом упал. Промеж лопаток ему пуля вошла. Вот и пер я тогда его по гривам в обход Березовой пади. Мертвого пер. Нет чтоб остановиться да дых

послушать... Дурной был. Аж до Листвяной пади пер, чуешь, сколько! Там у нас с им тоже зимовьюха хреновенькая стояла. Там и похоронил... — Селиванов приумолк, грустноватыми глазами покосился на лампу. — Ни хрена не светит! Все стекло закоптилось. Ну вот. Продал я дом батин... Ну, это не к делу и тебе без интересу. Потом кооператив стали сгонять. А потом решили, значит, базу делать. И нашелся же такой сукин сын, что Чехардак посоветовал! Я бы...

— Сам ты сукин сын! — огрызнулся Рябинин. — Я это дело подсказал. Самое удобное место для базы...

Селиванов выпучил глаза.

— Ты!

— Ну я! Если дело делать, то Чехардак самое место! И не жалею, что сказал!

— Ты! — снова ахнул Селиванов. — Дело? Да какое, Ваня, дело? Тайгу поганить — это дело?

— Чего обязательно поганить! Нужен в тайге продовольственный запас, чтоб не бегать по сезону за жратвой.

— Эх, Ваня! — покачал головой Селиванов. — На три года ты всего меня моложе, а мозгой — на десять лет...

— Ты зато больно умный!

— А ты глядел, как эта база строилась?

— Не мое дело — глядеть. Ну, был я поначалу, когда место искали...

— Ты вот, Ваня, в Бога-то, поди, не веришь? А я хоть тоже не шибко, но иногда думаю: впрямь Он есть. Если б тогда я знал, что это ты... И перекреститься не грех! — Закатив глаза, Селиванов перекрестился и покачал удрученно головой. — Понагнали мужиков-хомутников. Какие безобразия они учинять принялись — я тебе все рассказывать

не буду, чтоб совесть твою не тормошить, потому что я ее, эту совесть, своим грехом погасил с избытком...

— Ты мою совесть не трожь, лучше свою поковыряй, там, поди, черноты, что на головешке!

Рябинин захотел переменить позу, заворочался. Селиванов подскочил к нему, начал пособлять осторожно и толково.

— Затекла нога?

— Есть малость.

Селиванов взбил повыше и положил подушку, стянул с гвоздя свой полушубок, ощупал, не мокрый ли, и тоже сунул Ивану под голову. Тот откинулся на спинку и жестом остановил все еще суетившегося Селиванова. Тот лег на скамью, под голову руки подложил.

— Так вот. Где ты им место указал, там поблизости были у меня самые лучшие козьи загоны... А в версте от того места — зимовье, да такое, что справнее иной избы! Ну, пришли мужики! Был там среди них один губастый с зубами стальными, от ж... до шеи всякой дрянью расписанный... А я, значит, от кооператива будто на ту базу сторожем определился. Я ж на Чехардак с другого конца заходил, со своей деревни Атаманихи. А как дом продал, вообще без дома жил, зимой и летом в тайге. К одной бабке забегал два-три раза в сезон. А когда в Лучихе кооператив согнали и тайгу за ним закрепили, я туда подался, будто вообще человек новый, на Чехардак будто случайно напросился. А на базу, значит, сторожем.

Так вот этот, который расписанный и с железом во рту, он меня им жратву варить заставил... Чуть чего — сапогом под зад. Да не в том дело! Вечером костер разжигали, галдели песнями похабными, а потом всех вокруг костра расставлял и велел сс...ть

в костер, чтоб погасить, значит! Вань, ты такое безобразие вытерпел бы?! А потом еще чего... Находил дерево, чтоб под ним муравейник был, то дерево велел свалить, залазил на пень и гадил в муравейник и ржал, как муравьи от его дерьма подыхали! А потом решил он, Ваня, учинить надо мной такое, о чем я тебе и рассказывать не могу! Если б это случилось, утром повесился бы! Сбегал я вечером в Березовую падь, поймал там гадюку (они только там и водятся) и подкинул ему, когда он на мху дрых. Она ему в руку, выше локтя, стукнула. К утру подох. Мужики перепугались и вон из тайги. Я было обрадовался, да через два дня все они вернулись, а с ними новый их начальник... И кто, ты думаешь? А вот тот самый, что за главного у красных был, когда мы с батей им тропу показывали. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был, да глаз у того острый. Стал он на меня коситься... И понял я, что уходить надо. А куда ж уходить из своих мест?

После к нему приехали еще какие-то, не мужики уже, а из новой власти, как я понял. С ружьями. Пальба началась вокруг. Били, что на глаз попадает, и все в сторону зимовья моего шастали. Вот тогда, Ваня, и объявил я им войну не на жизнь, а на смерть. — Последнюю фразу Селиванов произнес торжественно, но тут же ехидно ухмыльнулся. — На ихнюю смерть, потому что до моей смерти у них была кишка тонка! И вот теперь, Ваня, я открою тебе свой великий секрет. — Тут Селиванов поднялся со скамьи, подсел ближе к Рябинину, наклонился к нему и заговорил почти полушепотом. — Если стать спиной к тому бараку, что строить начали, то что впереди глаз будет, помнишь?

— Гора вроде...

— Во! А если пойти по тропе от той базы на вы-

ход, тропа куда сворачивает? Это помнишь?

— Направо, кажись...

Селиванов довольно хихикнул. Рябинина это рассердило, но он не подал виду, интересен был рассказ.

— А если, Ваня, верст пять топать от базы, что по леву руку будет?

Тут Рябинин ответил быстро.

— Ну скала.

— Память у тебя, Ваня, как золото червоное! Точно, скала! А какая?

— Ну чего пристал! Обыкновенная скала, говори дело!

— Да это же и есть самое дело! Это, Ваня, та самая скала, что против базы гора!

— Чего мелешь-то! — зарычал Рябинин.

Селиванов сиял, как тот бок самовара, что отсвечивал лампой.

— В том-то и хитрость, что тропа от базы направо сворачивает круто, потому как там завал каменный в двух местах, а влево забирает чуть-чуть, то на шаг, а то и менее, зато все пять верст! И получается, что тропа та дает круг и за гору заходит, где она скалой смотрится! Эту тайну мне батя открыл. Когда выйти из тайги надо было налегке, прямым ходом вчетверо короче. Круто шибко, особенно когда на тропу спускаешься с той стороны, зато быстро! Дырка твоя заживет, я тебе этот фокус в натуре покажу! — Селиванов довольно хлопнул по коленкам. — И что же я сделал, Ваня! Батя мой запасливый был, приберег на Гологоре винтовочку с гражданской да пару лент, что вояки крестом по пузу носили. Гологор далековато, но ничего, я сбегал, принес винтовочку, запрятал на вершинке. Около базы себе балаган построил стенкой к горе, чтоб сквозь стенку пролезть можно было тайно.

И чего? Ждал! Герои настрелялись, мяса загрузили на лошадей, сам навьючивать помогал. А перед тем, как отбыть им, водой решил напоить их, дружков милых, чтоб жаждой не мучались! Да вот оступился... — Селиванов подмигнул.— Да и угодил в ручей со всей одежкой! Стреляки посмеялись надо мной и в путь тронулись, а наш главный их провожать поехал. Когда ушли, я при всем народе одежу снял свою, по кустам развесил и в одном исподнем в балаган залез, дескать, подремать. Сам через стенку, чащей да на горку. Как на крылышках взлетел, еще и ждать пришлось! Озяб. Гляжу — едут, руки в боки, языками чешут. Приложился я — не близко это было, напрямую шагов сотни полторы, — и как этот герой в кожанке мне грудью показался, я его и шлепнул. Он, Ваня, как мешок с дерьмом с седла вылетел! Я винтовочку в потайное место да вниз! Поцарапался, правда, страх как! Вылез из балагана, поеживаюсь, одежу сырую одеваю, давай мужикам в деле помогать... Через час они вертаются с трупом! Ну и началось. Один начальник страшнее другого приезжает, нюхает, по тайге с помощниками шарятся, а как домой вертаться, я на горку и — шлеп! Да самого главного! Потом, помнишь сам, целый отряд заявился, всю тайгу перековыряли, а уходили, я опять главного — шлеп!

Селиванов закатился смехом. Рябинин смотрел на него, как на сумасшедшего, широко раскрытыми глазами.

— Вот только этого последнего я мазанул, руку ему левую оттяпал, он теперь в Слюдянке судьей служит... И чего? Закрыли базу, Ваня! Я будто тоже испугался, перешел будто на Ледянку, а это же рукой подать до Чехардака! А туда носа никто не кажет. Потом, правда, еще ходили отряды, и слышал, поди, слух пустили, будто поймали кого-то...

Я их не трогал... Вот она какая, моя история, Ваня, вся как есть! Будешь доносить, али как?

Не без волнения задал этот вопрос Селиванов, хотя все еще сиял от радости исповеди.

— Темный ты человек! — угрюмо проговорил Рябинин, но было в его голосе что-то очень похожее на уважение, или, может быть, страх почувствовал он перед мужичишкой, которого час назад сморчком почитал. — По закону надо тебя, конечно, за глотку брать, потому что ты власти враг...

— Нет, Ваня, — заспешил Селиванов. — Это — моя тайга, и твоя, и других, наша правда — третья промеж их правд. Я к им со своей правдой не лез, против их закону не шел! По их закону что сказано? Все для мужика! А что с того закона мужик имеет?

— Чего это ты за мужиков болеть начал? Сам мечтаешь им на горло наступить, — съязвил Рябинин.

— Ты все мои слова на веру не бери! Зол я на мужиков за хомутность ихнюю! Будь они рылом позлее, так ведь любую власть в свою пользу поправить можно! Разве не так?

— Если всякий будет власть поправлять...

— Не! — замахал руками Селиванов. — Я по тайге иду, по сосняку, положим, гляжу, под сосной березка растет, а через лето от ее только прутик сухой. Чего это? А не положено березке в сосняке расти! И нигде это не записано, а само по себе! И ежели живут мужики, так закон меж их сам установляется! Я на твои солонцы идти не моги и все! Это закон! А кто его писал? Никто! А когда он стал? Того и мой дед, поди, не помнил! Ежели ты дом ставишь, то у моего дома дерево валить не будешь, и мысли такой не придет. Это закон! И чтоб его блюсти, звездача с револьвером

на брюхе не требуется! А коли закон такой, что ему соблюдаться нет мочи без револьвера, так он всем, кроме револьвера, поперек! Ты, Ваня, думаешь, что я звездачей со скалы шлепал из озорства или по лютости? А коли хошь знать, я каждый раз мозгу до ломоты доводил, чтобы свою правду понять в ясности!

— Убиец ты, вот и вся твоя правда!

На Селиванова, казалось, нападало отчаяние. Он уже не говорил, а кричал. По избе начал бегать. Лавка стояла поперек, и он каждый раз перешагивал через нее, кидаясь от одного угла к другому. Рябинин хмуро уставился в спинку кровати, но при всей нахмуренности на его лице были растерянность и тревога.

— Почему это я убиец? — кричал Селиванов. — А на войне все... — он махнул рукой, — они кого, зайцев убивали? И никто их убийцами не называет! А кто больше всех убил, им власть и почет!

— Дурак! — взревел Иван. — Это ж война!

— Я дурак? — досадно замотал головой Селиванов, словно жалуясь кому-то, кто мог быть за печкой. — А война-то отчего бывает?! Один царь другого в карты надул, а другой ему в отместку соплями камзол измазал! Потом взяли и напустили своих солдат друг на дружку. Солдаты друг другу кишки выпустили! Который царь без солдат остался, тот повинился! И вся война!

— Дурак ты и есть! — подтвердил Рябинин. — В эту войну народ с царем дрался за правду, а ты в тайге прятался!

— Сам ты дурак! — подскочил к нему Селиванов. — Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями воевать?!

— Не тронь моих, гад, зашибу!

Рябинин приподнялся, сжав кулаки, готовый вскочить с кровати.

— Зашиби! — кричал, почти визжал Селиванов. Ногой лягнул скамью, чтоб не мешала. Скамья опрокинулась, опрокинула за собой оба табурета. Вдребезги разлетелась бутыль с остатками самогона. Кружки, звеня, покатились по полу. — А за что меня зашибешь-то? За правду? — Селиванов был похож на маленькую собачонку, что нацелилась на быка острыми, мелкими зубками. — Пусть моя правда нечистая! А твоя-то где? В чем твоя правда? Я звездачей со скалы шлепал, так это я им войну объявил за то, что они мою правду обгадили! Я тоже имею право войну объявлять! И каждый имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? Что им с той правды, за какую друг другу мозги вышибали!

— Одно знаю, — отступая, сказал Рябинин, — для власти ты враг, и дел с тобой никаких иметь не хочу!

— Во заладил! — в отчаянии развел руками Селиванов. — Не враг я власти! *Она* мне враг!

Рябинин молча повернулся спиной и больше не сказал ни слова. Селиванов пометался еще по избе и улегся спать, кряхтя и вздыхая.

Утром проснулся засветло. Затопил печь, принес свежей воды из колодца, поставил самовар, прибрал в избе. Все это делал, поглядывая в сторону спящего егеря. Когда тот проснулся и зашевелился, спросил его о ноге. Перевязал, похвалил кровь, что хорошо скрутилась на ранах, напоил Ивана чаем.

Тот долго молчал. Потом его взгляд будто случайно упал на ружье Селиванова, что висело на гвозде у двери.

— Добрая штука! — сказал Рябинин и, кашлянув, громко добавил. — В общем, я ничего про твои дела не слышал!

— Правильно! — радостно подхватил Селиванов. — Мы вчера с тобой самогону перебрали, а с его, дурного, чего язык не намелет! И вся история! Лежи. Пойду собак посмотрю, не брал их нынче, у соседей в стайке уже неделю живут. Отощали небось!

Вот так это было. Только история была не вся, история еще только начиналась...

3

Сидя на березовой колоде вблизи старого рябининского дома, старик Селиванов, если бы он вспоминал о прошлом действительно в той подробности и последовательности, как это было только что рассказано, мог бы так и сказать: „История только начиналась”.

Но он не вспоминал ни о чем в этот поздний час, хотя, несомненно, думы его были о прошлом, и это прошлое в каком-то смысле было воспоминанием. Какие-то сцены, возможно, зримо возникали в сознании, звучали голоса, и свой голос, который всю жизнь не любил он из-за неуправляемой склонности к визгу. Но, может быть, он вовсе и не видел и не слышал ничего, а просто не решался приблизиться к порогу рябининского дома. И, оттягивая решение, думал о постороннем, или совсем ни о чем, как это умеют делать только старики...

Это было в... ну, в каком это было году, неважно. Была середина лета, самое доброе время года, самое пустое время для охотника. Селиванов це-

лыми днями изнывал от тоски и лишь забавы ради мотался по тайге с Иваном Рябининым, пугая браконьеров и всяких случайных людишек с ружьем, способных ухлопать копылуху, прячущую своих глухарят в черничнике, или перешлепать цыплят рябчика, когда они морковками рассаживаются на березах. Таскал он и соль на солонцы егеревы, и сено косил для изюбрей, и зимовье чинил.

Вот однажды, проторчав несколько дней на Чехардаке, дотянул до того, что и сам, и собаки животы подтянули к позвоночникам. К середине дня, по самой жаре, доплелся до Рябиновки и прямым ходом завалился в сельпо.

Еще когда подходил к магазину, увидел в стороне у забора незнакомого человека. Еще тогда усек его глазом, и если не было предчувствия, то ведь зацепился же глаз, не просто скользнул...

В магазине покалякал с продавщицей, еды набрал в мешок, перекусил малость и собакам, что ворвались в магазин, тоже по горбухе подкинул. Потом еще собаками хвалился перед мужиками, что тоже торчали там от безделья. Час прошел, не меньше. Забыл ли о том человеке? Забыл, пожалуй. Но зато когда выходил, сразу стрельнул в сторону забора, и теперь уже екнуло сердчишко. Там было двое: тот же, и с ним высокий, молодой, угрюмый... Смотрели они на Селиванова прямо, взглядов своих не тая, хотя про что взгляды были, не поймешь. Шел до рябининского дома и не меньше десяти раз оглянулся. Никого. За ним не пошли... Но смотрели же! Теперь Селиванову казалось, что знакомо ему лицо одного из них, а может и обоих...

Страх бил куда-то под коленки, ноги подгибались и подволакивались. Он молил Бога, чтоб Иван оказался дома, с Иваном ему сам черт не страшен...

Еще от калитки увидел, что дом на замке, и снова оглянулся. Не открывая дверей, он бегом прошарил сарай, нашел цепь и веревку, привязал собак у крыльца. Да что собаки! Не сторожевую цену они имели. Разве только робкого удержат, а понимающий по холкам потреплет и далее пойдет. Охотничьи собаки. Зимовье сторожить могут, а дому они цену не знают, это все равно, что к любому забору привязать...

С крыльца, подтягиваясь на носках, высматривал через плетень дорогу от деревни, и лишь после того отпер замок, а войдя, заложил сенную дверь на запор. Другая запора не имела, но он вдруг сообразил, что ежели захотят посчитаться с ним мужики за какие-нибудь егеревские дела, в дом не пойдут, а будут потемну караулить или по дороге в тайгу высмотрят. Тогда не беда! Он дождется Ивана, а до его прихода носу не высунет.

Ставни были закрыты, но щели пропускали свет и даже солнце с южной стороны, так что, немного присмотревшись, он прошел в горницу, зажег лампу и перезарядил ружье картечью в оба ствола. Сел, наконец, на табурет, смахнул фуражку с головы в угол.

Что-то еще тревожило Селиванова, будто не усек чего-то важного, тревожного... А что, если чека! Вдруг разузнали о его делишках на Чехардаке! И верно, те двое на мужиков не очень-то походили, больше на военных... И сапоги на них, вспомнил вдруг, вроде бы и обычные, да голяшки уж больно прямо... больно в обтяжку... А из-под фуфайки у одного-то уж не френч ли проглядывал?..

Такой оборот дела был пострашней мужицкой мести. И тогда Иван — не заступник, а ежели на него нажмут, так как бы и не проговорился! Тогда, значит, что? Тогда надо в тайгу бежать, да тотчас

же, да не тропой!

Он заметался по дому, охая и ахая, даже икать вдруг начал. Искал фуражку — нашел ее, наконец. Разрядил и снова зарядил ружье. Потом скинул с места крышку подполья, схватил сала кусок на полпуда, пару банок и выпрыгнул наверх зайцем. Сунулся в буфет, выгреб оттуда все, что было, в мешок, затянул его и закинул за плечи.

В сени вышел, не скрипнув дверью, долго пялился глазом в сквозное отверстие в сенной двери и, никого не увидев, выглянул наружу. Собаки заметались у крыльца; запрыгали, заскулили. Когда закрывал дверь, ключ прятал, собак отвязывал, все время зыркал вокруг, и немного успокоился. Значит, правильно решил — надо уходить сразу, а там уж разыскать Ивана и через него узнать, что к чему.

Собаки радостно вылетели за калитку. И когда Селиванов закрывал ее, одновременно за спиной услышал шаги и голос.

— Андрей Никанорыч, если не ошибаюсь...

Это был один из тех двоих, и точно, из-под фуфайки выглядывал френч, правда, изрядно поношенный...

„Шлепнуть и бежать!" — была первая мысль у Селиванова, но другая пришла трезвее: не успеть ружья с плеча сдернуть! Мысленно простонав: „Ой, пропал!", Селиванов притворно закашлялся, чтобы перевести дух для разговору.

Собаки, сделав круг по ближайшему рябиннику, вернулись и закрутились у ног. Человек боязливо покосился на них и спросил:

— Не кусаются?

„Не чекист!" — облегченно вздохнул Селиванов. — Тот если б испугался, спрашивать не стал — пристрелил бы. И не мужик! Самый глупый мужик

в собаках толк имеет".

— На то им и пасти дадены, чтоб кусаться! — ответил он незнакомцу, уже спокойнее приглядываясь к нему; и высмотрел одно движение руки, такое ни с чем не спутаешь: наган за пазухой! А все равно не чекист! Это точно! К тому же молодой совсем! Это по хмурости на морде сразу-то не приметил! Совсем парень еще!

— Дело у меня к вам, Андрей Никанорыч...

Селиванов кашлянул и не без важности ответил:

— Я прозываюсь не Андреем, потому как в день моего на свет появления в святцах святого такого не имелось, а прозываюсь я Андрияном. Хоть глупое имя, да мое. А дело-то про что у тебя?

Ох, как осмелел он, даже на „ты" перешел, и нутро все смеялось над недавними страхами. А что у этого в грудях револьвер, так эдаких Селиванов сколько за все годы перевидал!

— С вами хочет поговорить один человек... Мы сейчас к нему пойдем...

— Если кому я нужен, пусть сам приходит... начал было Селиванов, но вдруг все изменилось. Пока человек стоял от него в трех-четырех шагах, даже в полутора, был он просто человек и все. Но вдруг подступил к нему и оказался на голову, а то и более выше. И лицо его сменилось, будто маску скинул. Как всегда бывало в таких случаях, Селиванов сразу почувствовал себя маленьким и жалким; и спасовал, как всегда пасовал перед сильными и наглыми.

— Мне плевать, как тебя зовут, понял! — раздельно и внятно процедил сквозь зубы незнакомец. — Мне сказано привести тебя, и я приведу, а если надо будет, то и дробовик твой об тебя обломаю!

Селиванов съежился, подумал с тоской об Иване, со злобой — о собаках, что путались без толку под

ногами, и спросил покорно:

— Куды идти-то?

И хотя незнакомец сделал очень неопределенный жест рукой, Селиванов догадался, что пойдут они низовым рябинником, в обход деревни, куда-то к другому ее концу. „Эх, был бы Иван, по-другому поговорили бы! — шел и думал он. — Или собаки: сказать бы им „фас", чтоб одна за глотку, а вторая за ж...! Покрутился бы герой! А может, изловчиться и хлопнуть?"

Но сам знал — пустое дело, не получится... Да была еще надежда, что ничего страшного не случится! Кому-то нужен он. Кому — уже догадывался. Значит, не всех еще звездачи извели. Но мысль эта радости большой не доставила. Пустое все это дело... Пуля против нынешней власти слаба, а власть ею крепка! И загадка эта таким вот молодцам не под силу, погуляют и слягут где-нибудь без славы и пользы, только людям хлопоты. Да и какое ему дело до всего этого? Он живет по себе, по своему интересу. Такое уж место ему в жизни выпало, что на него лапу наложить непросто, да и сам он не промах, постоять за себя может!

Но тут вот, на этом месте, схватил Селиванов за хвостик маленького червячка, что похабным рылом своим пробуравил его самоуверенность.

А ведь мог бы этот, за спиной, оказаться чекистом? Мог! Ведь подумал же сначала. Значит, и ранее такую мысль имел в душе, да только в слова ее не допускал. Стало быть, и он, Селиванов, под Богом ходит! Ходит себе и ходит, а где-то, может быть, вылупляется из протухшего яйца беда про него. По крайней мере, кто поручится, что не поджидает его на какой-нибудь тропе колодина, об которую переломать ему ноги...

Между тем, шли они действительно нижним ря-

бинником в обход деревни, и тот, сзади, ни разу не поправил Селиванова, дескать, вправо или влево идти. Так куда ж его ведут? Он припомнил по каждому дому весь тот конец деревни и решил, что идут они не иначе как в дом к тетке Светличной, что стоял в глубине рябинника, чуть в стороне от самой улицы. „Ишь ты, кликуша конопатая!" — подумал не без уважения об этой женщине Селиванов. И, странное дело, подумал как о союзнике, которого ранее не разглядел.

Когда он уверенно свернул налево и прошел шагов полста в том направлении, вдруг был схвачен за воротник, да так крепко, что рубаха горло перехватила.

— Откуда знаешь, как идти надо?

Селиванов захрипел (притворно, конечно), а когда был отпущен, упал на землю, схватившись за горло и закатив глаза.

— Ты чего? — испуганно спросил парень, наклонившись к нему.

— Горло ты поломал мне, бугай мордастый! — прохрипел Селиванов, выкатывая глаза на лоб. — Воды дай, скорее, а то помру щас!

— Воды? — растерянно завертел тот головой.

Ох, как знал в себе Селиванов эту неудержимую удаль, что порождалась неизвестно от чего в его хлипком теле! Уж как она тогда сотрясала его изнутри лихорадкой риска! И ничего с собой поделать не мог, когда накатывало такое, потому что было оно сильнее всякого хмеля, что вливает в себя иной, чтобы дерзость в душе познать.

— Воды! — хрипел он. — Вон за тем кустом родничок...

Длинный парень заметался.

— Руки вверх! — завизжал Селиванов через минуту: уже на ногах, и бойко на взводе. — Вверх ру-

ки, г...о коровье, не то разнесу по перышку!

Ну зачем ему это надо было? Ведь пять шагов назад и не помышлял ни о чем таком. Само пришло! В ногах — страх козлиный, душа рвется почудачить...

Парню перекосило рот, но руки поднял, хоть и не высоко, а длиннее стал будто вдвое. Зубы оскалены, в глазах — не приведи Господь!

„Может, шлепнуть и дело с концом?" — была мыслишка. Но здесь найдут его, дело заведется — не обойдется! Да и любопытство разъедало Селиванова на счет всего этого. Кому он нужен и зачем?

— Тебе чего приказано было? Чтоб меня привести! А за глотку хватать было велено али нет?

Парень стоял и зло сопел, — явно искал выход. И такая решимость была в его, как ночь, черных зенках, что Селиванов понял — либо шлепнуть надо, либо сворачивать дело.

— Мы тоже не пальцами деланы! — сказал он хвастливо и почувствовал себя удовлетворенным. — Я и сам понимаю, что ежели кому во мне нужда есть, стало быть, идти надо! А куда идти, это браток, сообразить не хитро! Тетка Светличная единственно одна живет в том конце, да подход к ей с этого рябинника самый скрытный.

Дальше хоть и говорил тем же голосом, но в коленках маяту чувствовал изрядную.

— Ты того, рога-то из глаз убери! Пошутковал я! Да за пушку не хватайся, не понадобится!

Он опустил ружье, парень опустил руки.

— Пошли, что ли...

И снова Селиванов превратился в жалкого мужичишку, да и почувствовал себя таким. Это преображение потушило, или почти потушило, ярость длинного. Он, видимо, еще не совсем пришел в себя, но прошипел:

— Я б тебе пошутковал...

— А кому приятно, если его за глотку хватают! — совсем жалостливо простонал Селиванов, закидывая ружье за плечо.

— Ладно, иди!

Селиванов вытер пот со лба. Машинально то же сделал его противник.

— Ишь ты какой! — зло и удивленно сказал парень. — Смотреть не на что, а подловил меня!

Рыжий кобель тетки Светличной начал заливаться, когда они еще и до огорода не дошли. Селивановские собаки заметались вокруг изгороди. Когда же они подошли к крыльцу, конура оказалась пуста. Тетка перевязала кобеля за сарай. Больно лютый у нее пес был, испугалась, что гостей покусать может. Сама встретила их в прихожей и, увидав Селиванова, всплеснула руками в притворном удивлении.

— Андриян Никанорыч никак!

— Ага. Свататься пришел, — ехидно ответил Селиванов, снимая фуражку и вытирая ноги.

— Да я б с радостью! — запричитала Светличная. — Кто за вас не пошел бы! Охотник вы отменный! Уж как бы я вас обхаживала да голубила! Да куда уж мне, горемычной!

И так она все это пропела, что у Селиванова вдруг мысль промеж бровей проскочила: а может, и взаправду посвататься! Но легкий толчок в плечо быстро привел его в себя, и еще раз шаркнув ногами, он прошел в комнату.

На кровати, закрытый по горло стеганым одеялом, лежал тот, второй. В ногах у него сидела девушка лет девятнадцати, вся такая беленькая, светленькая, с косой до пояса. Запнулся на ней взглядом Селиванов, потому что не ожидал увидеть такое диво недеревенское, а приглядевшись,

догадался, что дочка она того, что лежал в кровати и был больной, потому как жаром горели его щеки и лоб, а глаза нездорово блестели...

— Садитесь, Андриан Никанорыч, стул возьмите и садитесь ближе!

Больной проговорил это тихим голосом с хрипотцой. По манере Селиванов с ходу определил, что перед ним „бывший". И уж офицер — точно! Он взял от окна стул, сел, ружье меж колен поставил, фуражку на ствол накинул.

Тот, что привел его, стоял в проходе, облокотившись на косяк, и голосу не подавал. Подчиненный, стало быть. Тетка осталась в прихожей.

— Николаем Александровичем меня зовут...

Селиванов культурно привстал.

— А это — дочка моя, Люда... Людмила...

Девушка смотрела на Селиванова спокойно и серьезно, и по ее взгляду он понял, что очень нужен им обоим.

— Не узнаешь меня? — вдруг спросил больной, глядя не на Селиванова, а на ружье.

Селиванов замялся.

— Еще у магазина... это... знакомым показались...

— Заметил, значит. Между прочим, твой отец... мне рассказывали тут... умер он?

Селиванов решил не трогать эту тему и дипломатично пробормотал:

— Царствие ему...

— А ружье это отец твой получил из моих рук!

Селиванов сначала прищурился, потом трусливо опустил глаза.

— Чего молчишь?

— Того, от кого мой папаня это ружье получил, я хорошо помню, хоть и молодой был, так что, извиняюсь, неувязочка...

Больной чуть приподнялся, дочь тотчас поправи-

ла ему одеяло, переложила подушку повыше.

— Подарил ружье твоему отцу полковник Бахметьев, а подал я... Подпоручик тогда я был...

Да, верно, вертелся около полковника офицерик, Селиванов припомнил. Значит, и вправду лицо знакомое...

— Тогда, значит, не ушли... — осторожно спросил он. Хотя откуда было знать офицерику, что Селиванов знал про красных, что они с отцом и навели красных на них!

— Ушли. С боем, но ушли. Дочь...

Он посмотрел на девушку, она ответила ему, и в этом обмене взглядами было „что-то" про любовь отца и дочери. Селиванову же про то оставалось только догадываться, потому что некому было на всей земле подарить ему такой взгляд... И опять промелькнула беспутная мысль: не посвататься ли к Светличной? Что с того, что она старше, а дите еще может быть... и, Бог даст, тоже девка, и может статься, доживет он до той поры, что и на него взглянет так же... Господи! И помереть можно!

— Дочка осталась у меня в Иркутске, год ей был всего...

И снова они смотрели друг на друга, и чуть-чуть повлажнели у обоих глаза.

— Вот и вернулся я... Чтобы на дочь свою поглядеть.

„То есть как это вернулся! — подумал Селиванов и оторопел даже. — Откуда вернулся?! Оттуда, чтобы на дочь поглядеть? Тут надо ухо держать востро! Тут кое-чем попахивает, от чего ноздри могут наизнанку вывернуться!"

— Значит... на дочку посмотреть... — тоном дурачка переспросил Селиванов.

— Семен, Людочка, посидите на крылечке, а мы поговорим...

Просящая интонация относилась скорее к тому, долговязому. Девушка, еще раз поправив подушки, послушно поднялась, и тот охотно (эту охотность для себя подметил Селиванов) шагнул ей навстречу, и руку предложил по-барски, и похабной улыбкой расплавился весь. Но руку его она не приняла, прошла мимо, и это тоже подметил Селиванов, хотя вроде бы и не смотрел в их сторону. В прихожей, когда уже за ними хлопнула дверь, прикашлянула, напоминая о себе, Светличная, но офицер никак не обратил на то внимания, и это означало, что тетка была у него на полном доверии. Цена Светличной в глазах Селиванова подскочила втрое.

Офицер глядел ему в глаза. Не было в них настороженности или подозрительности, просто пытался рассмотреть человека, насколько вообще можно рассмотреть человека по его виду. Селиванов терпеть не мог, чтоб ему в глаза смотрели, потому что никогда ничьего взгляда не выдерживал, и знал, что не в его пользу такая слабость, но разве себя переделаешь!

— Что ты за человек, Селиванов? Совсем ведь тебя не знаю... Вот только Ульяна Федоровна хорошо говорила о тебе... Потому и рискую.

„Женюсь!" — твердо решил Селиванов.

— Власть-то новую признал? Я имею в виду — сердцем?

— Другой власти нету, — осторожно ответил Селиванов.

Офицер устало вздохнул.

— Вижу, хитер... Но выхода другого у меня нет, и буду я с тобой откровенным. Если выдашь меня, Бог тебе судья! Но если дочке скажешь о нашем разговоре...

По взгляду, вспыхнувшему на миг, понял Селиванов, что верно, из-за нее было все, что хочет он

о себе рассказать.

— Болен я. Чахотка. Знаешь, что это такое?

— Неужто?! — ахнул Селиванов, по-новому всматриваясь в его лицо.

— До осени не дотянуть...

Селиванов хотел что-то возразить, потому что невозможно не возразить, слыша такое, но тот махнул рукой. Не хотел соболезнований и утешений.

— Когда узнал, страшно стало подохнуть на чужбине... Нашел людей, русских же, у которых в России дела. Уговорил послать. Не надеялся, что пройду. Мало кто проходил... Но вот, как видишь. В Сибирь поехал дочь искать, а сроки укоротились. Не до дела уже. Хочу последние дни провести с дочкой. А где? Вспомнил твоего отца. Вдруг, думаю, жив? Помог же нам однажды! Теперь вот ты... Можешь спрятать нас в лесу? Это не долго. Слово офицера. Дочь знает, что я оттуда, но не знает про болезнь, думает, простудился. — Помолчал. — Вот я, офицер бывший, дворянин, к тебе с просьбой обращаюсь, к мужику русскому, если ты еще русский... Дай мне умереть на воле. Отплатить тебе не смогу ничем, кроме хлопот лишних да риска...

Умел офицер говорить с мужиком. Растрогался Селиванов до нервности, даже сказать сразу ничего не смог, хотя непременно нужно было ответить. Но он лишь беспокойно заерзал на стуле, жесты непонятные руками изобразил, сам же преисполнился весь радостной готовностью услужить этому человеку, и даже думка не мелькнула более про то, что опасное это дело, если посмотреть по-всякому.

— Да чего ж... — обрел он, наконец, дар речи. — Тайга — это, так сказать, наше хозяйство! А чего помирать! Я вас в недельку на ноги поставлю! Корешок имею!

Больной грустно улыбнулся.

— На мою болезнь корешка природа не придумала, или люди еще не нашли... Так спрячешь?

— Понятное дело! Только как вы туда дойдете? Чтоб надежно, подальше нужно...

— Лошадь бы...

Селиванов с досады хлопнул себя по колену.

— Во дурак! Ну конечно! Будет лошадка и седельце...

— Ты уж извини, — перебил его офицер, — а две не сможешь достать?

— Да он же здоровый, бугай этот! На своих дойдет!

— Я о дочери...

Селиванов снова досадливо скривился и обозлился на себя за непонятливость.

— Понял. Две — это труднее... Но сделаем. А сможет она в седле-то?

— Не галопом же пойдем.

— И то верно, — согласился Селиванов и, наконец, позволил себе вопрос, что уже крутился на языке.

— А этот, длинный который, он кто будет, ежели не секрет, конечно?... Я это к тому, чтобы, как его... ну... это...

Тот помрачнел заметно, кинув взгляд к выходу, ответ обдумывал, а может, надеялся, что Селиванов от вопроса откажется. Но Селиванов делал вид, будто не понимает замешательства и молчания, и дурачком, как это умел, смотрел на офицера.

— Он будет со мной, а потом ... уйдет. Если надумаешь выдать его, вспомни, что я тебе этого очень не советовал делать...

„Э... — соображал Селиванов. — Не просто тут понять, кто из них главнее! Ухо надо держать востро!"

— Тогда, значит, что. — Он поднялся, кинул ружье за плечи. — Пошел я на счет лошадок. Как догово-

рюсь, так объявлюсь. А вы будьте готовы, значит. Думаю, завтра по утру двинемся...

И тут офицер закашлялся, да так, что Селиванов каким-то тайным чутьем, ранее не слыхав такого кашля, понял — взаправду перед ним конченый человек, не жилец. Тихо, вполоборота, вышел.

Людмила и Длинный сидели на верхней ступеньке крыльца. Оба встали, как только увидели Селиванова. Людмила тут же скользнула в дверь, а Длинный оказался напротив. И Селиванов вынужден был задрать голову, потому что понял — мимо пройти не удастся.

— Ну, до чего договорились? — спросил Длинный, не очень-то дружелюбно на него глядя.

— Что надо, то и сделаю! Извини, милок, время мало, а делу еще много...

С этими словами он хотел прошмыгнуть с крыльца, но цепко был схвачен за плечо.

— Смотри без шуток!

Язык затрепыхался во рту от желания сказать молодцу что-нибудь остренькое, но на то мозги и даны, чтоб язык обуздывать!

Изобразив на лице беспредельное послушание и бескорыстие, став еще ниже ростом и выставив напоказ всю щуплость и неказистость свою, Селиванов прохныкал:

— Да чего ж, не понимаю я, что к чему, что ли! Не сумлевайся, мил человек!

Это „не сумлевайся", которое он никогда не употреблял всерьез, подпустил с умыслом, зная силу холопских интонаций. Сильного и глупого ничем лучше не проймешь. Да не забыл, видно, Длинный его „шутку" в лесу, потому тряхнул за плечо и почти скинул Селиванова с крыльца, — лишь ног шустрость помогла не скопытиться на ступеньках. Неуверенный в том, что сможет сохранить на лице,

что положено, Селиванов, не оборачиваясь, просеменил за дом и шмыгнул в калитку огорода. Пройдя достаточно, чтоб наверняка не быть увиденным, он обернулся и угрожающе пробормотал:

— Еще потолкуем, оглобля двуногая, пошуткуем еще...

С одной лошадью было просто. Егерева кобыла, когда по ненадобности, содержалась в конюшне промхоза или на общем выпасе. Ее и седло Селиванов получил без помех, на то было давнишнее распоряжение егеря. А вот вторую пришлось выклянчивать у конюха. Тот был мужиком своенравным и в зависимости от расположения духа мог оказать услугу, а мог и заупрямиться. И тогда важность свою почитал пуще всяких благ и подарков: чем больше суешь под нос, тем упрямее он становился. И хотя именно на такое настроение нарвался Селиванов, но своего-таки добился и вторую лошаденку получил, правда, без седла, за неимением такого в наличности.

Намахав литовкой пару охапок травы за егерьским домом, он покормил лошадей, поставил им воды и, не раздеваясь, завалился на печь, где обычно спал, когда бывал у Ивана. Сон долго не шел. Селиванов предполагал, что Иван вернуться может ночью. Тогда надо будет врать про лошадей, потому что правды говорить не хотел, и не столько оттого, что не доверял егерю, сколько очень уж захотелось иметь свою тайну, свое дело, о котором всерьез болела голова. Неясные планы и предчувствия ворочались в душе. Азарт разгорался и кидал Селиванова на печи с боку на бок, и играл в жмурки со страхом, что тоже шебаршился где-то за душой, и нет-нет да показывал сердчишко маятой сомнений. „И что я за рисковый человек такой! — хвастливо

думал о себе Селиванов. — И чего прусь на всякие рога! Везенье — оно ведь тоже до поры до времени! По-другому опять же, кому суждено, того комолая корова забодать может! От судьбы не убережешься! Еще бы вот жениться! Тогда вся жизнь в полноте была б”. А дальше фантазия так взыграла, что увидел он себя в тайге с сыном: как учит его читать следы, как подзатыльники за глупость дает и по плечу за удачу хлопает... С этой фантазией и заснул.

Пробудился точно: чтоб из деревни выйти потемну, а в лес войти с рассветом. Седло накинул быстро. На вторую лошадь положил фуфайку и одеяло старое и веревку петлей перекинул по крупу — заместо стремян будет, в езде облегчение. Собакам кинул червячка заморить, себе — хлеб с водой холодной и сахаром вприкуску, закрыл избу, и тронулся в путь по зарослям рябинника, наощупь и по догадке выбирая путь.

Когда теткин пес залился лаем, Селиванов обматюгал его, как мог. Привязав лошадей к забору огорода, сам пошел к дому и на повороте к крыльцу столкнулся с Длинным.

— Готовы?

— Пошли в избу!

В прихожей заохала Светличная: дескать, куда же такого больного человека увозить, как он там без всякого присмотру будет и чем тут плохо...

Людмила посмотрела на Селиванова встревоженно и тоже, кажется, была против, а уж при виде самого больного и в Селиванову душу сомнение закралось. Щеки и лоб его горели, глаза лихорадочно блестели, а на платке, который он, скрывая, комкал, повсюду виднелась кровь.

Сначала навьючили на одну лошадь небольшие мешки с провизией, так, чтобы не мешали сидеть в

седле, а на ту, что была без седла, — тюки со всякими тряпками, необходимыми для зимовья. На дорогу выпили все по чарке, кроме офицера. Людмила, загадав, видимо, под чарку то, что и у всех на уме было, выпила на равных и постаралась не закашляться. Зато все время кашлял ее отец...

Он, прощаясь со Светличной, поцеловать на прощание ее не рискнул, но долго держал за плечи, смотрел в налитые слезами глаза и лишь напоследок сказал:

— Когда направлялся в Россию, боялся уже не встретить в ней людей.

— Куда ж они денутся, люди-то! — чуть улыбнулась Светличная.

— Дай-то Бог! А тебе — спасибо...

В седло устроили Людмилу. Офицер, на мгновение будто забыв о болезни своей, резво вскочил на кобыленку и приосанился, удаль былую вспомнив, да не тот был под ним конь, и все было не то, и сник он сразу, помрачнел и сказал нетерпеливо:

— Двинемся, что ли!

Селиванов, забрав у него поводок, повел за собой лошадь, выбирая в утренних сумерках проходы по рябиннику.

Он хотел бы тумана, но ясное утро обещало солнечный и жаркий день. Нужно было до полудня прибыть на место, а у таежной лошади, если идет шагом, шаг один — неторопливый, три версты в час, и ускорить его невозможно.

Селиванов долго мотался по рябиннику вдоль ручья (или это ручей петлял?), несколько раз переходили через него, и всякий раз лошади намеревались пить: но лишь шеи успевали вытянуть, как он тянул их и шел далее, зло покрикивая: „Но! Но! Доходяги!" Лошади не обижались, сознавая свою справность и выносливость, встряхивали

гривами, косясь на мечущихся вокруг них селивановских собак, и шли дальше.

Наконец, вышли на тропу, и Селиванов отдал узду офицеру. По тропе лошади пойдут сами, работа привычная.

Шли на Чехардак, на ту самую недостроенную базу, где когда-то разбойничал Селиванов. Барак он давно уже разобрал, точнее, перебрал и превратил в просторную избушку. В ней он обделывал свои делишки: панты варил, шкурки обрабатывал, зверя разделывал, когда мясом запасался; там же хранил капканы, петли, ловушки да стволы кое-какие... Тропа, по которой шли, была неходовая, по ней и ходил разве что только один Селиванов. Шла тропа глубоким черным руслом вдоль мхов, а поперек — на каждом шагу корни, как ступеньки. По обочинам тропы, а то и прямо на ней—маслята таежные целыми гнездами. Скоро птица начала взлетать всякая: то рябчик, то копылуха, то голубь лесной. Собаки уносились далеко вперед, вспугивая все вокруг, радуясь власти своей и свободе.

Офицер стал дремать в седле. Маленький караван шел молча, лишь лошади фыркали да звякали иногда подковами, натыкаясь на выход камня на тропе.

Всю жизнь свою только тем и занимался Селиванов, что входил в тайгу и выходил из нее; и если не было в его мыслях по этому поводу высоких слов, то чувства испытывал он вполне высокие: чем далее шли годы, тем больше смысла чуял он в таком, казалось бы, естественном союзе: он и тайга. Когда выходил на люди и тайга оставалась за спиной, Селиванов думал о ней как о чем-то целом, едином и живом, но от него отделенном, и это отделение воспринимал как вынужденное не-

удобство, нарушение естественности. Когда же возвращался, тайга переставала быть чем-то вторым по отношению к нему, он снова ощущал себя ее мозгом, и уже не было двоих, но одно — он и тайга; более того, только с его присутствием обретала тайга полноту лица и цельность сути.

Было время, ревновал он тайгу к Ивану Рябинину, но сообразил вскоре, что тот всего лишь „мужик в тайге" — знал много, а понимал мало. Часто испытывал горькую досаду, что не жив отец, потому что именно перед ним хотелось блеснуть своим умением и знанием; понимал он еще, что далеко перехлестнул отца в таежном деле, а все обиды, что от него выносить приходилось, были бы отомщены, взгляни он одним глазом из этого, из того ли мира хотя бы на походку, с какой сын шагает по отцовским тропам! Но так уж устроена жизнь: доказать себя удается только самому себе, а от того радость хоть и есть, да неполная.

Нынче же, ведя чужих людей в тайгу, испытывал он смешение чувств потому что больно по-разному относился к ним: к офицеру с дочкой и Длинному. И хотя понимал, что никому до него дела нет — один помирать едет, другая — хоронить, третий вообще — темнота да нечисть — все-таки хотелось их чем-то удивить, проявить свою удаль.

В том месте, где тропа петлями пошла на подъем, приотстал он будто по нужде, а затем, как мальчишка хихикая, кинулся вверх по кустам, напрямую, по немыслимой крутизне, и выскочил на тропу, когда те еще и не показались с поворота петли: когда же выехали, дурацкая шалость оказалась напрасной и вогнала его в стыд, потому что никто ничего не заметил и ничему не удивился — все трое были погружены в свои думы...

И Селиванову стало вдруг страшно тоскливо,

и тоскливость эта была вообще: про всю жизнь, про ту его жизнь, что уже прошла и осталась в памяти, и про ту, что проходила сейчас, без всякой видимой связи с будущей, которая еще впереди...

Тоски Селиванов боялся. Он, человек тайги, которому слишком часто приходилось смотреть под ноги и редко когда удавалось взглянуть в небо, равнодушный к вопросам веры (просто некогда было думать об том), он, однако, состояние тоски почитал грехом в самом прямом смысле. Тоска была для него врагом жизни, и чувствовал он по себе: единственное, что может сломать его жизнь — это если он уйдет в тоску, как в запой. Тоска — это голос из ниоткуда; тоска, которая есть пустота, в каждом человеке пребывает, как непроросшее семя. Не дай Бог пустить ему ростки. А когда тоска, в полной явности проявляется — это и есть смерть. Ее Селиванов видел не раз в глазах умирающего зверя, утратившего уже чувство жизни; тогда, в то короткое мгновение, тоска вырывает душу из тела и уносит ее в никуда, и это ее черное дело есть последнее живое трепетание в уже мертвых глазах. Селиванов всегда старался не смотреть в такие глаза, потому что чутье подсказывало ему, какой опасно заразной может оказаться чужая тоска. В ней все теряет связь, и ни в чем не остается смысла: дерево само по себе, а небо само по себе; зверь под небом и деревом ни с тем, ни с другим душой не соприкасается; а человек оглядывается вокруг — и все против него и он против всех; и тогда начинаешь соображать, что все в мире — от травинки до солнца — совсем другим порядком существует, чем ты думал, и порядок этот к тебе — никаким боком, и выть хочется...

Когда находило такое на Селиванова, давал он

волю злу и спасался тем от тоски, потому как никакого другого средства не было от нее, гадины! Хмель (пытался запойствовать) размягчал его до такой отвратности, что он всего себя чувствовал одной большой задницей, и от хмельной сопливости спастись бывало еще трудней. А сорвешь на ком-нибудь злобу — совестно станет, побранишь себя, покаешься и — снова человек! Иногда немного надо: подцепишь собаку сапогом под брюхо, взвизгнет она собачьей болью, посмотрит на тебя Божьим укором, и застыдишься, и жалостью всю черноту души отмоешь. Или хватишь топором по кедру еще несмолевому, а он затрепещет, затрясется и на топоровой зарубке капельки выступят... Тогда ножом смолы соскребешь со старого кедра да замажешь рану, хоть это и дурость ненужная — дерево само себя лечит.

Когда же на человеке срывал злость, излечивался страхом, потому что задирался с тоски обычно на крепкого мужика, и как только до сознания доходил страх побоев, тут же душа очищалась и причащалась к нормальности...

После подъема долго шли по равнине. У ручья сделали привал. Случилось так, что мужики пошли в кусты, Селиванов остался один на один с Людмилой. Она спросила его вдруг:

— Вы человек бывалый, можете сказать, сколько ему осталось жить?

Селиванов захлопал глазами, вспомнив предупреждение офицера. Пытался дурачка разыграть. Она с досадой сдвинула брови.

— Только не притворяйтесь, что ничего не знаете! Я вам доверяю и прошу вас, не хитрите со мной!

От грусти в ее голосе и ему стало грустно.

— А сама-то откуда знаешь? Он же не велел го-

ворить...

— Этот... — она кивнула туда, куда ушел Длинный. — Да и сама догадалась бы...

— А какой же резон ему был говорить вам?

— Господи! — она прислонилась головой к стволу кедра, на корнях которого они сидели, и Селиванов не рискнул предупредить ее, что смола попадет в волосы. — Господи! Какое это имеет значение, кто что сказал! Сколько он еще проживет?

А разве Селиванов знал про то?

— Есть у меня корень целебный, будем поить, авось вытянем!

Нет, надежду в ее глазах он не зародил. Они остались грустно спокойными.

— Зачем этот идет? Чего ему надо? — допытывался Селиванов.

— Папин злой гений...

— Чего?

— Борец за идею. Впрочем, не знаю. Может быть, и борец... Но он злой. Вы его не задевайте. Я... — тут она вся съежилась, быстро оглянулась, — я боюсь его!

— Не боись! — затрепетал от радости Селиванов. — Не таких видывали!

Она с сомнением посмотрела на него, он это сомнение понял. Чего там, мужик он не внушительный. Иван бы — другое дело! А вот еще неизвестно, кто из них для девки надежней оказался бы.

— Не боись! — подмигнул он ей. И сам в этот момент ничего не боялся.

Потом что было?.. Устроились в зимовье. Отец с дочкой на нарах, Селиванов с Длинным на чердаке. Бегал Селиванов за корнем, варил отвар, поил больного. Тот пил, морщился и кашлял. Длинный днями шатался по лесу, палил из пистолета в дят-

лов, спать заваливался рано. А Селиванов часто допоздна просиживал на чурке в углу, слушая разговоры офицера с дочкой, иногда и сам встревал, если уместность была.

Через неделю (долее тянуть уже было нельзя) погнал лошадей в деревню. Конюх крыл его матом и махал кулаками. Иван же, когда Селиванов к нему пришел, за грудки схватил, чуть в воздух не поднял.

— Куда лошадей гонял?

Селиванов долго и убедительно врал чего-то, рвал на себе рубаху, крест на живот клал, что не на черное дело и что отродясь более к его кобыле не подойдет, потому что жрет она без меры, а потом такие звуки издает и вонь, что зверье с тех мест опрометью уходит...

Иван не поверил ничему, но против селивановской брехни долго устоять не смог: ворчал, сверкал глазами и остывал.

На Чехардак Селиванов вернулся утром следующего дня. Не доходя сотню шагов до зимовья, на тропе встретил офицера, встревожился.

— Гуляю! — успокоил тот.

— А где... все?

— Спят. А утро какое чудесное! Устал? Мешок-то какой!

Селиванов и верно, нагрузился плотно: хлеб, мука, сало, овощи... Светличная позаботилась.

— Посиди, отдохни! — предложил офицер, и Селиванов понял, что поговорить хочет. Скинул лямки, мешок прислонил к пню, выбрал место посуше. Сели. Перед глазами — вершина той самой горы, с которой когда-то так ловко постреливал Селиванов начальников со звездами. Страсть, как захотелось похвастаться (другого случая не представится), чтоб оценили его ловкость по достоин-

ству. Но придержал язык, не до него теперь... А тот между тем молчал. Солнце, отчаявшись вдохнуть в него жизненную силу, будто отражалось от бледности его лица или вовсе обтекало сторонами. В самом лице произошли неуловимые изменения.

— В Бога веришь? — спросил офицер.

Селиванов такого вопроса не ожидал, замешкался, соображая, как сказать лучше.

— Не верить грех, а верить мудрено... — пробормотал он и побоялся, что будет уличен в лукавстве, но тот будто не слышал ответа. Он смотрел на вершину селивановской горы, или даже поверх ее, и чуть покачивался.

— Сколько здоровых, сильных пытались проникнуть в Россию и гибли! А я прошел... И если это — Бог, то в чем Его воля, а в чем попущение?

Замолчал. Селиванов попытался развить тему.

— Когда солнце в глаза, тогда про Бога думать несподручно, вот ежели ночью...

— Ты прав, — серьезно согласился с ним офицер. — Солнце делает мир плоским, а ночь дает перспективу... Ночью познаешь суть величин. Свет сквозь тьму... Свет во тьме... Но мне этого уже не успеть понять, хотя жизнь этим начиналась. И была Истина, как будто сама собой... а потом будто дымкой подернулась и превратилась в привычку. А жизнь пошла сама собой...

Селиванов чувствовал себя собакой, когда она вслушивается в речь человека в надежде услышать знакомое слово. Но был он не собакой, а человеком; и потому думал про себя о том, что за всякой мудреностью кроется нечто очень простое и ему давно известное; и что если иной говорит сложно, так то ли потому, что говорить просто не умеет, то ли чтоб цену себе повысить

— Красивая у меня дочь? — спросил офицер без

всякого перехода.

Селиванов изобразил восхищение.

— А ты заметил, как она произносит слово „папа”? Словно учится его произносить, сама его слушает! Так же, как и я... Мы с ней учимся быть отцом и дочерью... Ты заметил, она произносит слово „папа” иногда только для того, чтобы услышать его, ведь раньше, если произносила, так только в мыслях или шепотом... Но ведь, наверное, совсем другое дело, когда на это слово кто-то откликается. Только тогда оно и звучит по-настоящему...

За спиной — шаги.

— Господи! Папа! Я уже не знала, что и думать! Ну зачем ты один уходишь!

На глазах слезы. Причесаться после сна не успела, в платьице, босиком... Опустилась около отца на колени, с осторожной, робкой лаской коснулась его руки. Было в этом прикосновении столько сокровенного, что Селиванов отвел глаза, сотрясаясь от зависти и от досады на самого себя. „Неужели он и вправду помрет?!” — впервые всерьез подумал он, и незнакомое ощущение крадущегося, шуршащего ужаса обнаружил где-то под сердцем, почти в животе. Он, видевший смерть и творивший ее сам, видно, самую жуть смерти не ухватывал, потому что не знал жалости.

— Пойду однако... — растерянно пробормотал он, надевая лямки мешка на плечи.

— И ты иди! — сказал офицер дочери. — А я еще посижу. Поди! Поди! Помоги Андриану Никанорычу с продуктами разобраться, да чайком напои, с дороги он...

Несогласная, но послушная, она поднялась и, не говоря ни слова, пошла по тропе впереди Селиванова. Через несколько шагов он заметил, как в беззвучных слезах дрогнули ее плечи.

— Сердце себе не рви и ему боль не усугубляй! — прошептал Селиванов ей в спину. — Отвлекать его надо от черной думы! Черная дума человека подталкивает, куда ей надо! Понимаешь?

Она кивнула.

— Забытие про болезнь да корень целебный — одна надежда!

— Мама, когда была жива, рассказывала о нем как о неживом. Я привыкла, что он просто был когда-то... И вдруг — он! Словно воскрес ненадолго, чтобы снова уйти... Я не могу!

Она опустилась на мох и заплакала в голос. Селиванову присесть рядом мешал мешок за спиной, он нагнулся, сколько позволяла тяжесть, зашептал горячо:

— Перестань, говорю! Слышь! Щас же перестань! Тебе Бог, считай, с того света послал дочерность познать! А сколько после той резни сиротами вечными остались!

Она не принимала его слов, потому что не было в них справедливости для нее, а лишь правда, которую она и так знала, и неизвестно, может, лучше б и не знала...

— Как я жить теперь буду! — крикнула она. И Селиванов не нашелся, что ответить, лишь взял ее крепко за плечи и поднял на ноги.

— Услышать может! — потом сказал он.

Это подействовало. Она заспешила по тропе, тревожно оглядываясь и вздрагивая от слез.

Опухший от сна Длинный встретил их у зимовья, подозрительно оглядывая.

— Где Николай Александрович?

— Гуляет, — небрежно ответил Селиванов, задевая его мешком в дверях зимовья.

Что еще было тогда? Была еще летняя ночь,

когда Николай Александрович рассказывал о себе дочери и Селиванову. Луна успела перекочевать из одного окна в противоположное, фитиль лампы подрезался трижды, и трижды кипятился чай. В эту ночь кашель отпустил больного на отдых, а думалось — на выздоровление.

Рассказывал он о том, как бедствовал в Китае после перехода границы, как странно погиб полковник Бахметьев, как перебрался в Европу и обучился шоферскому делу, как обретал надежду в среде белого воинства, верного своему знамени, как нашел женщину... И об этом рассказал, хотя и не сказал, как потерял ее.

Чувствовал Селиванов, что разговор этот вроде как исповедь, но не совсем, потому что не живет человек без порчи и греха; об том же больной умалчивал и жизнь свою рассказывал, как сам видеть ее хотел и дочке это вйдение передать. Интересен был Селиванову его рассказ, да непонятен. Хотел он услышать, что есть „белая" правда, рассказ же офицера был про благородство, а про правду все так, будто она — сама собой; и была для Селиванова она — эта из рассказа лишь проглядывающая „белая" правда — предпочтительней правды „красной" лишь тем, что никак не касалась его самого, на жизнь не замахивалась, пролетала гордым словом где-то много выше его головы, оставляя Селиванову право на его правду „третью". И той недоброй жалостью, какой жалел всех, в землю полегших за правду „красную", той самой пожалел он за „белую" правду полегших мужиков; и папаню своего вспомнил благодарно за то, что сберег сына от чужих страстей; и о себе подумал с достоинством, что не положил себя угольком в чужой костер. Еще подумал о том, что если бы весь российский мужик сообразил так же, как он,

кто бы тогда с кем дрался? Ведь красные и белые молотили друг друга мужиком, а если бы он своей правде верен остался, что тогда было бы?

И, улучив момент, спросил осторожно:

— Вот когда б мужики не пошли ни за красных, ни за белых, чем бы тогда все дело кончилось?

Офицер посмотрел удивленно, лицо помрачнело. Не сразу ответил.

— Пустое спрашиваешь. Те, кого ты называешь мужиками, народ то есть, он не сам по себе...

Селиванов торопливо перебил:

— А я вот сам по себе, и папаня мой был...

Тот с досадой махнул рукой.

— Случайность. Глушь. Если белым не помогал, значит, помогал красным. Невмешательство — тоже помощь!

Селиванов хотел возразить, но опередила Людмила.

— Но, папа, они тоже говорят — „кто не с нами, тот против нас!"

— И они правы! Кто не с ними, тот против них!

Она с сомнением покачала головой.

— Меня как дочь офицера (мы с мамой не скрывали) в институт не приняли. Работу нашла по знакомству только... Но разве я против них?

Будто сама себе вопрос задавала. Селиванов радостно встрепенулся!

— Я ж то самое говорю! Это *они* против! А мы сами по себе!

Отец отвечал дочери, на реплику Селиванова не обратив внимания:

— Ты комсомолка? Нет! Ты веришь в их собачий коммунизм? Нет! Не веришь ведь?

— Не верю! Они злые! Они друг другу не верят! Но...

— Вот и все! И больше ничего не нужно говорить!

Главное, чтоб *им* не верили! Хотя...

Луна в этот момент появилась в другом оконце, и желтый свет упал на его лицо, загороженное от лампы подушкой.

— Хотя неверием долго жить нельзя. Совсем нельзя! Но люди хотят жить и потому способны поверить в нелепое. Я проехал всю Россию... Это страшно и безысходно...

— А я все равно сам по себе! — упрямо вставил Селиванов.

— Если бы так, мне помогать не стал бы!

Селиванов ткнул пальцем туда, где спал Длинный.

— Ему не стал бы! Я *хорошему* человеку помогаю.

— Нет хороших людей! — резко возразил офицер. — Есть правые и неправые!

— А он какой? — Селиванов снова ткнул пальцем туда же.

Офицер явно смутился.

— Борьба ожесточает... Идеалисты погибают первыми...

Это был не ответ, и Селиванов самодовольно хмыкнул. Но весь этот разговор был ему нужен, он укрепил его в *своей* вере и правде. Не только отдельных людей, но и все в жизни привык он представлять для собственной ясности в образах тайги, как бы переводя жизненную многоголосицу на язык ему понятный и доступный. Власть, что царила там, везде за пределами тайги, он представлял себе в образе разъяренного кабана, не только четырьмя свинячьими копытами приросшего к земле, но и всей своей неуклюжей плотью. Опасный зверь, нет слов! Но разве нет на него сноровки да смекалки!

А вот „белую" правду, как она рисовалась со

слов офицера, Селиванов видел этаким козлом таежным, с мощными рогами на голове, парящего в вычурном, затяжном прыжке, или склонившим голову в боевой готовности всеми выкрутасами рогов навстречу противнику. Но в высоком прыжке наиболее уязвим он для пули, а рога больно хитро закручены, чтобы быть надежным оружием. Кабан порвал козла! А в кабаньем царстве кем нужно быть, чтоб выжить? Понятное дело, росомахой! Пакостный зверек, не без подлости. Но Селиванов себя со зверем не путал...

Полная, как диск, луна выставилась в оконце зимовья, и от ее навязчивого присутствия всем стало не по себе. Но никто не решился завесить окно или хоть вслух заметить это, будто боялись признать дурной знак. А так и было...

С той ночи, назавтра и после, все стало быстро и неуклонно свертываться к концу. Селиванов еще раз бегал в деревню за продуктами. Светличная ревела, упаковывая мешок. Собаки на базе вели себя беспокойно. Селиванов держал их на привязи, чтоб не путались под ногами.

Людмила, глядя на тающего отца, сама таяла: осунулась, поблекла, глаза сухо блестели. Угрюмее с каждым днем становился Длинный. А дни стояли солнечные, тихие, ночи теплые; больному же было зябко и днем, и ночью. Его озноб передавался всем, и Селиванов часто ловил на себе такой взгляд девушки, будто и она, и все вокруг тоже должны скоро умереть. Хуже того, Селиванов сам стал покашливать; прикрывал рот рукой, потом внимательно смотрел на ладонь, не появилась ли кровь, хотя ни в какую свою болезнь не верил.

Больше не было долгих разговоров по вечерам, но успел офицер сказать ту фразу, которую ждал Селиванов: "Дочку не оставь!" Сказал ему один на

один, и хотя Селиванов лишь мотнул головой, тот мог умирать спокойно, насколько может человек спокойно умирать.

Когда, наконец, это случилось в середине ночи, собаки вовсе не завыли, как то должно быть по народному наблюдению. Людмила окаменела около нар, Длинный сутуло стоял у двери. Селиванов все еще не верил, все еще гоношился вокруг и никак не мог найти явное отличие мертвого от живого. Когда и живому подтверждения не нашел, растерялся, беспомощно разводил руками и вроде не в силах сообразить был, какое слово требуется сказать в таком случае. Еще что-то совсем незнакомое творилось с его душой, чего вовсе не было, когда умер отец. Если бы кто сказал ему, что это — жалость, он возмутился бы. Но душа его исходила томлением, было ей так нехорошо, почти тошно; и ничего не оставалось Селиванову, как удивляться самому себе.

По рассвету он начал делать гроб из старого запаса досок. Шуметь старался как можно меньше, чуть ли не после каждого удара молотком пугливо оглядываясь в сторону зимовья, словно кто-то мог появиться и устыдить его.

Самым страшным было то, что вокруг будто все смолкло; наступило молчание, когда из тайги ушел всего один голос, меньше даже — кашель... И это было еще одним нарушением прежних представлений Селиванова, главным образом — о самом себе. Что ему эти люди, случайно оказавшиеся на его тропе? Он жил до них и после них будет жить! Разве не так?

А тайга онемела...

Хоронили к вечеру. Неживая бледность появилась на лице Людмилы. Она делала все молча, не

глядя ни на кого и, казалось, никого не замечая. Над могилой, которую Селиванов аккуратно обложил зеленым дерном, Длинный произнес речь, ненужную никому, кроме него самого. В тех словах было о борьбе и о чести. Пальнули из пистолета и ружья. Потом уже больше нечего было делать. Людмила сказала, что хочет побыть одна. Селиванов думал схорониться на всякий случай в кустах, мало ли что от отчаяния девке могло в ум прийти, но Длинный повел его к зимовью для разговора.

— Будешь работать со мной.

— Чего работать? — не понял Селиванов.

— Не прикидывайся и про шуточки свои забудь! — угрожающе ответил тот. — Придет от меня человек если, сделаешь, как скажет!

— Какой человек? — передергиваясь ознобом, снова спросил Селиванов.

— Ты дурака не валяй! — еще злее ответил Длинный. — Я тебя из-под земли достану, если что!

Селиванов понял, что самое лучшее — соглашаться. Но не тот он человек, кого повязать можно, кого холуем сделать! Зелен парень! Был бы умен, попросил помощи али совета; может, и не отказал бы. Селиванов прятал глаза, чтобы мысли не выдать, испуг изобразил, как умел, весь искривился в притворном холопстве.

— Ее, — Длинный кивнул в сторону могилы, — определю в новое место. Через нее будем связь держать. Племянницей твоей будет.

Селиванов напрягся, как перед очень нужным выстрелом. „И девку с собой повязать хочет... Он дурак! Скоро влипнет и девку погубит!"

Еще за минуту до того Селиванов чувствовал себя наследником. Ему, именно ему, поручил отец свою дочь, как бы передал на усыновление. „А теперь эта оглобля отнять хочет ее на прихоть глу-

пости своей... Не бывать!" Решил сперва попробовать по-хорошему:

— Послушай, давай я тебе буду чего хошь делать, а девку-то, может... Ну ее!.. Пущай живет себе...

Тот презрительно взглянул на него.

— Жить! Ее жизнь — месть за отца, продолжение его дела! Для нее другой жизни нет!

— А ты спрашивал?..

— Заткнись! — оборвал его Длинный.

„Погубит! Шлепнуть?" — Но понял: не сможет „шлепнуть", что-то действительно повязало его с Длинным, и эту повязку он чувствовал капканом на ногах. — „Думать надо! Думать! Девку не отдавать!"

— Сегодня уйду. Подыщу ей место. Жди меня здесь. Смотри!

— А как же! Конечно! Тут будем, — радостно залепетал Селиванов. „Отсрочка! Глуп! Совсем глуп! Ничего в людях не кумекает!"

Когда говорили втроем о том же, Людмила слушала равнодушно, то ли не понимая, о чем говорят, либо ей действительно была безразлична ее дальнейшая судьба. Селиванов будто нечаянными репликами пытался объяснить ей, чего хочет Длинный, но безуспешно. Она была согласна на все. Длинный ее молчание принял как должное. Он вошел в роль главного, а может быть, он таковым и был. Но только не для Селиванова.

Ушел вечером. Но разговор, на который Селиванов надеялся, оставшись наедине с Людмилой, не получился. Она была как во сне, ничего не слышала, не понимала, сидела неподвижно на нарах, отказывалась от еды. В конце концов Селиванов насильно заставил ее поесть и уложил. Сам лечь на место умершего не решился, устроился на чурке у столика, голову положив на руки, но тоже не мог

уснуть, как бывало с ним всегда, когда предстояло на утро действовать рискованно и ответственно.

Утром объявил без всяких разъяснений:

— Уходим сегодня! Собираться надо.

Она сначала никак не приняла это, но кинув взгляд на пустые, аккуратно накрытые одеялом нары, где всего сутки назад лежал ее отец, встрепенулась испуганно и выскочила из зимовья. Селиванов нагнал ее уже около могилы. Она упала на нее и впервые, наконец, дала волю слезам. И Селиванов облегченно вздохнул. Он отступил за деревья, сел на мох и приготовился ждать.

Спустя час, обессиленную, с перепачканным землей и слезами лицом, поднял он ее решительно и привел к зимовью. Заставил умыться, собраться и поесть перед дорогой.

Собаки подняли скандал. Оставаться без хозяина, но с людьми, — такое они еще могли принять. Когда же выяснилось, что хозяин уходит и оставляет их одних, они, взметнувшись на задние лапы и задыхаясь в ошейниках, завыли на всю тайгу жалобно и пронзительно. Селиванов, замахнувшись, цыкнул:

— Сидеть, стервы! Сегодня приду! Сказал, приду!

Вой перешел в скулеж, который и сопровождал их по тропе до первого крупного поворота.

С главной тропы, однако, Селиванов скоро свернул; пройдя с километр по камням и завалам, он вывел Людмилу на маленькую, еле заметную — скорее звериную, чем человечью, — тропу, что на камнях вовсе терялась, а в высокой траве была почти не видна. Он не хотел рисковать. Вдруг Длинный вздумает сразу вернуться... Людмила выдохлась на третьей версте, потом было еще три или четыре привала. Селиванов не торопил. Почти к вечеру вышли они на Рябиновку, но и тут некоторое

время пробирались по зарослям, чтобы подойти к дому егеря, как объяснил Селиванов, с подветренной стороны, чтоб ни одна живая душа не увидела их.

Оставив девушку в кустах, озираясь по сторонам и согнувшись, Селиванов шмыгнул в калитку и досадливо поморщился: Иван был дома.

— Явился, бродяга! — встретил его хозяин.

Селиванов, даже не здороваясь, без всякой подготовки выпалил:

— Дело есть, Ваня!

Тревожно было оставлять Людмилу одну.

— Натворил чего-нибудь? — подозрительно покосился егерь.

— С человеком беда, Ваня, с хорошим человеком! Помочь надо!

Рябинин смотрел на него еще подозрительнее.

— Можно, приведу?.. Потом все растолкую... Помочь надо! Я щас!

Вдруг ему представилось, что Людмила не останется на месте, уйдет куда-нибудь... Бегом вылетел он за калитку, кинулся в кусты и, обнаружив ее, вздохнул облегченно.

— Ну, все в порядке! Идем!

Рябинин настороженно стоял посередине прихожей. С удовольствием наблюдал Селиванов, как расширялись глаза егеря, как забегали руки по рубахе, выпущенной поверх брюк, как давился Иван языком, пытаясь ответить что-то на тихое Людмилино „Здравствуйте!" Он суетился по дому, растерянный, беспомощный, безъязычный, пока не взмолился, наконец взглядом к Селиванову: чего с ней делать-то, мол!?

— Ну, ты чо, Ваня, мечешься? — снисходительно, с отеческим укором сказал Селиванов. — Человека покормить надо, пятнадцать верст отмахали!

Хотя и не в себе была Людмила, и устала с дороги, но жалко ей стало этого вдруг ссутулившегося длиннорукого верзилу. И когда в очередной раз загремела у него под рукой посуда, она встала и предложила свою помощь. Он молча уступил место у плиты и жалобно взирал на Селиванова. Еще в тот момент, когда секундой оказались они рядом: она — ниточка серебряная, он — моток пряжи грубой, у Селиванова мелькнула мысль, что, дескать, интересный получиться бы мог узор, если серебряной ниточкой да по сукну... Но это была не мысль, а так, баловство... Длинный рядом с ней куда лучше смотрится!

Вспомнил про Длинного, и засосало под ложечкой. „А может, плюнуть на все, смотаться на Гологор или еще куда, пусть Длинный с егерем стакнутся!" Но знал — не выдюжит Иван против того, уступит, да и прав не уступать не имеет. И от сознания, что он, Селиванов Андриан Никанорыч, единственно может развязать этот колючий узелок, такой к себе почтительностью преисполнился, что даже прикрикивать стал на егеря: не гоношись, мол, попусту, если в своем доме — не хозяин, отыдь в сторонку, а мы уж сами...

Иван взглянул на него недобро и стал листвяком согбенным посередине избы. Селиванов подмигнул ему, и они вышли. На ступеньке крыльца Иван попесьи взглянул другу в лицо. Очень хотелось покуражиться Селиванову, да времени не было — предстояло еще возвращаться на Чехардак, сегодня же.

— Значит, чего, — сирота она. Отца ее я схоронил на Чехардаке вчера. Деваться ей некуда. У меня, сам знаешь, каков дом. Так что, Ваня, пущай у тебя побудет малость, а там придумаем...

Сказанного, конечно, мало было для ясности, и Иван попытался расспросить, как, дескать, на

Чехардак попали и прочее, но Селиванову и некогда было, и лень. Да и лучше, если сама скажет, что нужным найдет...

— А мне, Вань, седни назад переть на Чехардак, дельце одно еще не покончил! Так что ты уж девку не обидь!

Рябинин посмотрел на него, как на идиота, поднялся, и они вошли в дом.

— Дверь не закрывайте, пожалуйста! — попросила Людмила, раскрасневшись у плиты. Иван раскрыл все окна, но и на улице еще не спала жара, в доме прохладнее не стало, хотя и зашевелился приятный сквознячок. Селиванов не заметил, когда Иван переодел рубаху и причесался. Побриться не успел, и теперь то и дело досадливо потирал подбородок. Он уже приходил в себя, хотя прямого взгляда на Людмилу избегал.

„А чего? — подумал Селиванов. — Старше он ее всего годов на двенадцать! Не будь она краля, а он — мужик, глядишь, и сварили бы кашу!" Но как подумал об том, так и смешно стало. „Эвон, как она ручкой поводит, и на цыпочки вздымается, и взгляд у нее совсем не тот, что мужиковскому глазу доступен. Зато об этот взгляд крепко пораниться Иван может".

Вспомнил Селиванов про отцовскую сестру, что жила в Иркутске замужем за мастеровым. Сто лет от нее вестей не было, но где жила, он помнил. Решил поначалу к ней пристроить, а там видно будет. И чем больше глядел он на егеря, тем крепче уверялся, что скорей надо избавлять его от возможной пагубы.

Иван за стол не сел, хотя Людмила просила настойчиво. „И правильно! — подумал Селиванов. — А то бы начал швыркать из ложек!" Сам же вовсю швыркал. Ему чего! Он мужик есть и будет! А

девка-то ишь как суп с края ложки пьет, не толкает в пасть по саму рукоять. Если он так сосать будет, к утру не нажрется! Ох, и хлеба кусочек над ложечкой держит, а он уже и скатерть заляпал, и штаны!

Обтер Селиванов рукавом рубахи рот, брюки, крякнул и поднялся.

— Хорош однако! Шибко нельзя! Тяжело идти...

— Может быть, не нужно идти?.. сегодня?.. робко спросила Людмила и с тревогой, понятной только им, взглянула ему в глаза. Своей же тревоге Селиванов волю не давал и ответил так, будто не понял взгляда.

— Собаки у меня ж там! Их на привязи в тайге долго держать нельзя, сбеситься могут!

Иван отвел его в сторону и спросил шепотом:

— Если она здесь... то мне куда уйти?.. Или как?

— Куда уйти! — возмутился Селиванов. — А она одна в доме будет, что ли? Ты чо, Ваня?

Иван замялся.

— Не по-людски как-то... Одна с мужиком в доме...

— Вот то-то, что с мужиком. Это можно. Был бы офицер, тогда другое дело!

Иван понял, обиделся, но не подал виду. Селиванов обиделся тоже. Ведь егерь его на много ль моложе, а ему, Селиванову, и в голову не пришло б увидеть в себе неудобство для молодой девки, да еще из барышень. Медведь же этот вообразил, что она его за что-то другое принять может...

Прощаясь с Людмилой, шепнул ей:

— Ты, того, растолкуй ему... Ну, чего захочешь...

— Когда вернетесь?

Он развел руками.

— Пожалуйста, не ссорьтесь там... Мне ведь все равно, куда... Может быть, он прав, мне надо с ним...

Вот этого ее равнодушия Селиванов боялся больше всего.

— Тебе жить надо!

— Для чего?

— Детей чтоб рожать! — зло сказал он. Людмила не смутилась и не возразила. Только чуть коснулась его руки:

— Я вам благодарна за все! Пожалуйста, постарайтесь по-хорошему...

Ночь прихватила Селиванова версты за три до зимовья, и хоть был он чужд всякой мистики, ночная тайга была для него явлением таинственным. Не то чтобы верил он, а скорее воображал, что ночь есть освобождение всего живого и неживого от бытия, которое по сути — вынуждение и обязанность. Деревья, камни, трава, звери и даже люди — пока живут, все время чего-то им надобно и что-то сами они должны. И если б не было ночи, разве хватило бы сил человеку идти, дереву стоять, камню лежать?! Но она приходит, и, становясь невидимым, все живое и неживое растворяется в спокойное, темное марево, где нет напряженности в различиях и соперничестве. Это состояние есть тайна для глаз. Потому, если идет человек ночью по тропе и глаза его что-то различают, вынуждены деревья, камни и сама тропа приходить в свое дневное обличие, чтоб не столкнулось отдыхающее с бодрствующим.

Когда приходилось идти ночью, Селиванов завидовал и злорадствовал зараз. Завидовал всему, что по сторонам от него пребывало во мраке, а значит, в свободе от своей формы. Зато все, что было доступно его глазу, вынуждено было срочно возвращаться в свое обличье. И Селиванов ехидно шептал в темноту: „Ну, давай, давай, ишь разнежился, а ну кажись!" И впереди смутными очерта-

ниями, как бы нехотя, неторопливо, вырастал пень или камень. Проходя рядом, Селиванов торжествующе говорил: „То-то!“ Но было ясно — не успеет он и пяти шагов ступить, пень или камень снова сонно расползутся в черноту и покой. Знал он и другое: нельзя чиркать спичкой, когда идешь ночью по тропе: все спящие, растворившиеся могут не успеть обратиться в себя и спросонок перепутать свои обличья; тогда ветка кедра обернется лапой с когтями, пень — медведем, а тропа свернется в клубок.

Или у костра ночью: кинь в него сухую хвою невзначай — взорвется костер пламенем, и какие только чудовища не замечутся вокруг, как застонет тайга, как вскрикнет все ушедшее из себя, застигнутое врасплох в неприличной бесформенности!

А еще бывает! Когда новолунье: тоненький серп висит над гривой — не навязывается на глаза, не затемняет звезды. И в другой половине неба они так ярки, что получается: будто человек и звезды только в своем образе среди мрака и теней. И не то, чтобы звезды ближе были, но небо само и есть то место, где живет человек вместе с землей и со всем, что на ней и вокруг нее. И букашка вроде бы, и сын неба!

Сын неба и земли, шел Селиванов ночной тропой к зимовью на таежном участке, прозванном Чехардаком за то, что если с главной гривы смотреть на таежные сопки внизу, похожи они на пьяных мужиков, прыгающих друг через друга в дурацкой забаве — чехарде.

Селиванов шел и вслушивался в ночь и скоро услышал, чего ждал: на базе осатанело выли привязанные собаки. Выли как по покойнику, но на самом деле от страха перед ночной жутью и от

обиды на хозяина. А когда тот ворчливо отвязывал их, зашлись в таком скулеже восторга, что даже по пинку получили. Радость их, однако, не убавилась. И не прибавилась, когда хозяин кормил их, потому что не хлебом единым живы собаки...

Сам заварил чайку в котелке, попил без ничего, посидел у печурки и лег на нары, не раздеваясь, ружье к стенке положив, под рукой чтобы...

Расслабился Селиванов. Следовало бы ему встать пораньше. Но получилось так, что, услышав лай, вскакивать с нар не решился: сонная рожа могла сойти за испуганную, а в сумерках зимовья и настоящий испуг скрыть можно. Про себя же успел подумать, что деловой этот Длинный, за сутки обернулся. Спешил парень, да опоздал!

Расперев руками, ногами и головой дверной проем, Длинный гаркнул с баловством в голосе:

— Подъем!

Селиванов неторопливо поднял голову, приподнялся, сел, притворно протирая глаза. С порога Длинный шагнул прямо к нарам Людмилы, присмотрелся, потом спросил:

— Где она?

— Как где — ахнул Селиванов удивленно. — Она ж с тобой ушла!

— Что?! — прохрипел тот.

— Да сразу же, как ты пошел, она сказала, что с тобой пойдет, и побежала вдогонку! Разве не догнала?

Голос Селиванова дрожал искренним недоумением.

— Этого только не хватало! — Длинный опустился на нары. — А ты чего?! Почему не остановил?

— Да как же! Говорил! Не стала слушать!

— С ней надо было идти, дурак!

— Так ты ж велел тут ждать!

И здесь Селиванов промахнулся: почувствовал себя победителем и в голосе того не скрыл. Длинный поднялся, подошел к нему, заграбастал в кулак рубаху так, что у того горло перехватило, подтянул с нар к себе.

— Врешь!!

— Да что ты! — прохрипел Селиванов.

Тот хотел видеть его глаза, но в зимовье было сумеречно. Рывком сдернул Селиванова с нар и поволок к выходу. Селиванов зашелся в визге, пытался рукой нащупать ружье, но не дотянулся. Пинком под зад Длинный швырнул его через порог, не выпуская рубахи, тряхнул, поставил на ноги, удавьим взглядом впился в Селивановы глаза.

— Врешь, скотина! По роже твоей вижу, — врешь! Шуточками занялся? — Он все еще надеялся, что Людмила где-то здесь.

— Да говорю ж, за тобой убежала! — уже совсем фальшиво пропищал Селиванов, фальшь свою услышал и затрепетал от страха, но не расслабился. И тот удар, что должен был выбить ему челюсть, пришелся по черепу. Почти потеряв сознание, Селиванов шлепнулся на землю. Даже не боль, а страх и ужас сохранила ему память. Полуслепой от хлынувшей на глаза крови, он вскочил на ноги и со щенячьим визгом кинулся прочь. Но сзади цыганским бичом щелкнул выстрел. Селиванов упал, не понимая, жив он или мертв.

— Встать! — ударил по ушам окрик. Он поднялся на четвереньки. Ему в глаза уставился махонький зрачок револьвера.

— Сюда, скотина!

Селиванов сначала пополз, стряхивая с бровей кровь, потом поднялся и, будто ощупывая руками впереди себя воздух, вздрагивающим шагом стал приближаться к Длинному. Он что-то пришептывал

заплетающимся языком. Вблизи зрачок револьвера был таким же крошечным, и в этой крошечности сидело полдюжины смертей. И не только для слабых, но и для самых удачливых, ловких, храбрых. Всех сильнее была эта черная дырочка в железке.

— Сейчас ты мне все расскажешь! — яростно процедил Длинный.

— Расскажу! Расскажу... — залепетал Селиванов, торопливо мотая головой. И вдруг осознал, что действительно сейчас все расскажет и поведет и потеряет... Он не мог вспомнить, что нашел он такого ценного, чего не смел потерять, но было оно едва ли не ценнее самой жизни.

— Расскажу... Расскажу... — еще лепетал он. Длинный сунул пистолет в карман и шагнул. Не страх перед побоями, не страх перед смертью и даже не страх утраты чего-то, а скорее неспособность выбрать между этими страхами наименьший и отчаяние от своего бессилия швырнул Селиванова под руку Длинному. Тот от неожиданности только дернулся. Но Селиванов уже прошмыгнул у него под рукой и влетел в раскрытую дверь зимовья.

— Ах сволочь! — взревел Длинный и бросился за ним. У самого порога острый таран чудовищной силы ударил его, и взорванной грудью он рухнул на траву.

Не только жизнь, но и кровь давно покинули тело, а Селиванов все еще стоял за порогом, держа ружье наизготовку. Лежа, Длинный казался еще длинней. Лежал он так, будто вот-вот вскочит. И Селиванов никак не мог решиться перешагнуть порог. Его колотил озноб, он даже руку не мог оторвать от ружья, чтоб смахнуть кровь, залепившую ему правый глаз, и обтереть губы.

На выстрелы примчались собаки. Не подходя близко, они взволнованно топтались в нескольких

шагах от Длинного, втягивая в себя запах крови, который, казалось, заполнил всю тайгу.

— Ой-ей! — простонал Селиванов. Выставив ружье, он одной ногой переступил порог. — Господи!

Приблизясь к лежащему, он стволом пошевелил ногу Длинного. С ружьем наизготовку, обошел его со всех сторон. Он не мог принять случившегося. Ему казалось, что он не хотел, даже не предполагал такого. Сидя на корточках перед мертвым, положив ружье на колени, он покачивал головой. Страх прошел, сменившись апатией. Селиванов бы сел или лег на траву, но ему казалось, что кровь Длинного пропитала всю землю вокруг.

„Правду сказал Иван... Убиец я", — подумал он.

Наконец, отложил в сторону ружье, подполз к Длинному и не без робости, коснувшись его плеча, перевернул на спину.

— Надо ж! — воскликнул он. Лицо Длинного было точно таким, как полчаса назад, когда тот был еще жив...

„Что же это происходит с человеком? — думал Селиванов. — Все остается тем же — лицо, руки, ноги, а человека уже нет, только гильза стреляная. Неживой человек — уже не человек, ежели в нем жизни нету! Тогда это что ж получается? Человек и есть жизнь? А жизнь — что она такое, если может быть и не быть? Начаться и кончиться? И куда девается, когда кончается? Ведь — шлеп, и нет жизни! А через день — от человека одна трухлятина! Куда ж уходит все это?!"

Он поднял было глаза к небу, но ощутил досаду, такое оно было синее, яркое и само по себе.

„Может, в землю уходит и там накапливается? Может, когда земля трясется, это значит — там много собирается отлетевшего духа человеческого?"

Тут вдруг заныл, засвербил больно рассеченный

лоб, и Селиванов вспомнил и о своей ране, и о своей крови, что залила ему все лицо.

— Ну, ты полежи малость, — сказал он Длинному, — опосля что-нибудь сообразим.

И тут же подумал, что могилу придется копать здоровенную, вон какой дылдой вырос! А что толку? В землю, как и всем! Селиванов спустился к ручью, присел на камень и стал мыться. Ручеек был хилый, кровь с лица и рук окрасила воду. Подбежала собака и начала лакать из ручья.

— Кровь мою пьешь, сука! — Селиванов потянулся было за камнем, но передумал. — Пей, хрен с тобой! Чего ей пропадать!

От холодной воды заломило голову.

„Когда болит что, — думал он, шагая к зимовью, — это, надо понимать, жизнь о себе кричит, уходить из человека не хочет. А кому кричит? Себе самой, что ли? Значит, сама о себе беспокоится. Вот беру нож и смолу с дерева сажу на рану, потому что жизнь моя мне так делать велит! Но жизнь — разве не я сам? А шлепнет меня кто-нибудь, я останусь, а жизни во мне не будет. То есть для того, кто меня шлепнет, я еще буду, а для себя — нет! Был бы Бог, тогда всему объяснение простое: отлетела душа к Богу, а гильза ей уж без надобности! А там или ад, или рай, по грехам судя! Не! Ежели б Бог был и рай тоже, зачем тогда людям тут худо жить, все в рай торопились бы! А коли не торопятся, которые попы даже, — они ведь тоже не торопятся и живут не без греха, — значит, и для них это тоже вопросик неясный!”

Селиванов усмехнулся.

„Если б рай был, так как только человек об том узнавал, тут же и пускал бы себе пулю в лоб, чтоб поскорее туда попасть, пока грехов не насовал во все карманы! И жить тогда зачем?..”

Смола раскаленным железом закипела на ране, Селиванов сморщился, задрал голову, зажмурил глаза. Когда открыл, снова взглянул на небо. Оно было все таким же синим и ярким.

„Оно, конечно, какая-то тайна в небе есть! Так в чем ее нет? Все кругом тайна и хитрость, и плутовство; и промеж людей, и промеж зверей, и промеж камней! Смолу на лоб кладу для чего? Потому что под ей кровь сохнет и дырку закупоривает! А почему? И ежели на этот вопрос какой-нибудь ученый лекарь даст ответ, то на тот ответ все равно вопрос найдется, чтоб ему руками развести! А коли самого последнего ответа все равно никто не знает, так что проку вопросы задавать?! Один пусть на десять вопросов ответ знает, а другой — на сто, но если еще можно сто первый задать и он заткнется, так нешто он мудрец? Вот Бог бы был...”

И тут Селиванов очень тихой мыслью спросил себя, хотел бы он, чтобы Бог был? Почувствовав кощунство в самом вопросе, он даже вслух сказал: „Понятное дело!” Но про себя однако, и почти без страха, подумал, что не хотел бы он, чтобы Бог был, потому что, если Бога нету, он, Селиванов — какой есть — на жизнь свою не жалуется, удовольствие в ней имеет, а после, когда умрет, не будет у него ничего — ни хорошего, ни плохого. А если, не дай Бог, Бог есть, тогда совсем другой меркой обмерится его жизнь. А мерка эта может быть такая, что сидеть ему на том свете вечно по уши в кипящей смоле. А там от мук и подохнуть нельзя, чтобы избавиться!

В поисках смолевого кедра он оказался рядом с могилой офицера. Взглянув на нее, удивился, почему смерть хорошего человека, которому он всей душой хотел жизни, не взбаламутила его так, как

та, которую сам сотворил, хоть и против своей воли.

„Поди, совесть растормошилась, ведь как-ни-как, — а убивать грех!" Селиванову приятно было так подумать, и хотелось еще думать о себе как-нибудь особенно, чтоб было и совестно и гордо. Но деловитость — главная черта его характера — начала выявлять себя. И он уже ничего не мог сказать о себе такого, чтоб со смыслом было. Потому, наконец, он подумал вслух то, что было уже без всякой мудрости, но очевидно вполне:

— Жарко однако! Скоро вонять начнет! Копать надо...

В рубахе, лишь спереди заправленной под ремень, с засученными рукавами Иван колол дрова. Селиванов, бесшумно подойдя к калитке, некоторое время наблюдал за ним, не решаясь окликнуть. А как Иван колол дрова — Селиванову не понравилось. Уж больно лихо взмахивал он колуном. У Селиванова всегда вызывало неприятное ощущение всякое проявление физической силы, но сейчас дело было не в том. Иван играл полупудовым колуном будто напоказ. И чурки разваливались на все стороны от его рук с какой-то угодливой похотью, как кабацкая шлюха перед купчишкой. Селиванов и сам бы справился с любой из них, но делал бы хитро, разгадывая тайну дерева, присматриваясь и примеряясь, преодолевая их сопротивление и упрямство. Иван же словно плевать хотел на хитрость; и казалось: он лишь замахивался, а чурка уже ахала и трескалась ради него в самом невозможном сечении...

Селиванов еще бы стоял у калитки, но собаки, отставшие от него в километре от деревни (кота гоняли), ворвались в чуть приоткрытую калитку, промчались у Ивановых ног и унеслись за дом. Селиванов притворился, будто только что подошел,

махнул Ивану рукой и, не распахивая калитки, протиснулся во двор.

— Чего это ты? — спросил Иван, увидев его лоб.

— Об сучок, мать его... — отмахнулся Селиванов. — Ну, как вы тут? Она как?

Иван мялся.

— Сегодня лучше. Вчера плохая была...

— Про отца сказала?

Иван кивнул и покосился на дверь.

— Не понял я, кто он был-то?

— Из тех, стало быть, — с намеком ответил Селиванов, — кто нынешней власти в ножки не кланяется!

Иван нахмурился.

— Не наше это дело, — сказал он угрюмо.

— Понятно, что не наше! Завтра увезу ее в Иркутск.

— Слаба она еще... — неуверенно возразил Иван, и опять не понравился Селиванову.

— Посмотрим!

Людмила сидела у окна, что выходило на рябинник. Увидев Селиванова, вся подалась к нему.

— Ну слава Богу! Что с вами, вы ранены?!

— С чего ранен-то! По темноте шел, на сучок напоролся!

— А он?..

Селиванов повесил ружье, скинул куртку, вернулся к порогу, протер сапоги и подошел к ней.

— Ты обо всем этом не думай! Вон как тростинка стала. А с ним все в порядке! Договорились! Он сам по себе, мы сами по себе! Уехал в Иркутск. Вместе из тайги выходили.

— Почему же проститься не зашел? — спросила она, вся настораживаясь и бледнея.

— Говорит, дела... Кланяться велел...

Она посмотрела ему в глаза, и Селиванов съе-

жился.

— Вы говорите неправду... Что-то случилось? Да?

Селиванов по-бабьи всплеснул руками

— Ну чего мне, крест целовать, что ли! Говорю, все в порядке! В Иркутске, сказал, зайдет навестить!

Эта фраза была удачной, она изменила выражение ее лица, и только разбитый селивановский лоб да его глаза, не выдерживающие ее взгляда, мешали ей справиться с тревогой. Молчавший до того Иван вдруг сказал грубо:

— Ну-ка, иди привяжи собак, а то мне весь огород вытопчут!

Селиванов благодарно взглянул на него и поспешно вышел, Иван — за ним.

— О чем речь? — спросил Иван.

Селиванов замялся.

— Да был там еще один...

— Ну?..

— Чего ну! Был да сплыл... Больше нетути! — зло ответил Селиванов.

— Говори толком!

Селиванов потрогал рукой лоб, взглянул на Ивана.

— А может, тебе не все знать надо, Ваня?

— Все равно узнаю!

„Сходит на Чехардак и догадается! Дождем не пахнет... Кровь на траве... Могилы...”

Он вздохнул и сказал виновато:

— Шлепнул я его!

Иван резко схватил его за грудки.

— Ты еще не нашлепался? Да?

— Не хватай! — обозлился Селиванов. — Я тоже жить хочу! Если б не я его, то он меня... Девку он хотел в свое дело взять, а я не дал! Понял?!

— Какую девку?

— Отпусти, говорю! Какую! У тебя что, двадцать девок в доме?

Иван отпустил, недоуменно уставившись под ноги. Селиванов поправил рубаху, высморкался.

— Это мне он вскользь врезал, и то чуть башку не расколотил. Тебе револьвер к морде не подставляли? А? Ну так нечего за грудки хватать! А то ишь какой справедливый! Тот тоже меня хватал, да отхватался!

Селиванов пошел в дом. Иван за ним. Их долгое отсутствие и нахмуренные лица снова насторожили Людмилу. И пока Селиванов умывался, ел, пил чай, она смотрела на него молча и выжидающе.

— Завтра в Иркутск поедем, — сказал Селиванов. Она не ответила. Ей было все равно, где быть и куда ехать.

— Нешто в городе поправишься! — пробурчал Иван.

Потом они с Иваном перекинулись фразами о том, о сем, и когда уже Селиванов совсем было успокоился, Людмила подошла к нему вплотную, так что он вынужден был подняться с табуретки, и потребовала тихо, но решительно:

— Расскажите мне все!

— Ну вот! — ахнул Селиванов. — По-новой бабка пошла курей считать. Я ж говорил...

Но под ее взглядом голос его перешел на невнятное мычание, он замолчал, облизывая губы, умоляюще глядя на Ивана. Тот сидел в стороне, не подымая глаз. Селиванов беспомощно плюхнулся на табуретку.

— Он жив? — спросила Людмила.

Тут бы и подхватить, раз она еще надеется, да сочинить чего-нибудь, но в мозгах — студень бараний.

— Да говорите же!

— Не рви душу человеку, коли врать не умеешь! — угрюмо сказал Иван. Людмила быстро обернулась к нему, испугом зашлось ее лицо.

— Шлепнул он его! — ответил Иван на ее молящий взгляд.

— Как... шлепнул?!

— У тебя что, язык отняло?! — взревел Иван. — Я за тебя говорить не обязан!

— Ну, это...—виновато заспешил Селиванов. — Бить он меня начал, с револьвера стрелял... он в меня, я в его... ну и... того...

Она как-то странно кивнула головой и отошла к окну.

Он подбежал к ней.

— Погибла б ты с ним! Ни за что ни про что! А какое его дело и правда его какая, про то ни ты, ни я не соображаем! А тебе жить надо!

— Вы тоже недобрый... — проговорила она так тихо, что Иван не услышал.

— О том после судить будем! — Селиванов отошел, надел куртку, кинул на голову картуз.

— Дела у меня... к вечеру приду...

Хлопнув обеими дверьми, плюнув на заскуливших собак и пнув ногой калитку, направился он, куда глаза глядят, поперек чащи рябиновой. Но скоро понял, куда: к тетке Светличной.

— Андриян Никанорыч! — всплеснула руками Светличная. — Господи! Ну как там?

— Самогон у тя есть?

— Сконча...а...ался! — простонала она.

— Глотка горит! Есть али нет, говори! А то в магазин пойду!

Всхлипнув, она провела его в горницу. Селиванов протопал через кухню и сел за стол, покрытый вышитой скатертью.

— Отмучился, значит! — вздохнула Светличная.

— Кто отмучался, а кто нет!

— Крест-то хоть поставили на могилке?

Селиванов махнул рукой. Отстань, дескать! Она фартуком вытерла глаза, подошла к массивному буфету и вытащила двухлитровую бутыль. Принесла картошки вареной, огурцов соленых, луку. Поставила хлеб, стаканы.

— Помянем!

— Царствие ему то самое! — буркнул Селиванов и выпил, не поморщась. Она тоже выпила четверть стакана. Потом они молча жевали огурцы.

— Лоб-то чем?..

Он отмахнулся.

— Сиротку куды девал?

— Пристроил...

Он налил себе еще, выпил и понял, что бесполезно: сколько ни пей, душе легче не станет...

— А что если девку за Ивана Рябинина отдать? А?

Пришла же в голову глупость! Он ожидал, что Светличная замашет руками, возмутится, — он даже хотел этого. Но она сказала по-другому.

— Ежели полюбятся, так чего ж! Он мужик надежный!

— Да нешто она за мужика пойдет! Благородиева дочка! Ты — того...

Обидно стало до слез. Он резко отставил бутылку.

— Хреновый у тебя самогон!

— Давешний, — охотно согласилась Светличная.

— Муж-то у тебя хохол был, что ли?

— Хохол, — вздохнула она.

— Не люблю хохлов! — задирался Селиванов.

— Всякие бывают...

— За меня пойдешь? — спросил, будто между прочим.

Она покачала головой.

— А чего? Еще и детей будем иметь!

Она потупилась.

— Бесплодная я... Оттого и муженек ушел...

— Пошто ж так! — сочувственно сказал Селиванов, не скрывая разочарования.

— Бог знает...

Он схватил бутыль, налил по стаканам. Выпили и снова молча жевали картошку с огурцами.

— Вот ты мне скажи: человеку добро делаешь, а он тебя недобрым обзывает, почему так? А?

Она склонила голову на бок и, покачиваясь, тоненьким голоском тихо затянула песню:

Не пойду сегодня в церковь,
Будут милого венчать...
Я не выдержу, заплачу,
Будут люди замечать...

— Нет, вот ты скажи: человеку добро сделал, смерти в рыло глядел, а он тебе говорит: недобрый, дескать...

Зазвенели колоколы,
Мил с другой венчается!
Ой, подружки вы, подружки!
Жизнь моя кончается!

— А другой и ухом не повел, а в добрые попал! Это как, а?

— Обидел тебя кто?

— Кто меня обидел, тот... увидел! Чего с тобой толковать!

Он навалился грудью на стол и то ли песню замычал какую-то, то ли просто заскулил по-пьяному. Так и заснул за столом. И когда Светличная волокла его на кровать, сапоги стаскивала и на бок заваливала, даже голосу не подал. Сама она залезла на печь, задернула занавеску и долго в темноте плакала...

Утром, отказавшись от чая, побитой собакой выскользнул Селиванов из дома Светличной и почти побежал к Рябинину. Там его ждала оплеуха. Сначала Иван не очень уверенно предложил Людмиле пожить еще несколько дней у него. Селиванов не обратил внимания на его слова. Но потом! Людмила сказала коротко и определенно:

— Не поеду!

Иван от радости залился краской и стал противен Селиванову до нетерпения. Он плюнул, кинул за спину мешок, ружье — за плечи и, не прощаясь, ушел. В тайгу.

В его отсутствие и случилось то самое утро, когда кто-то из деревенских, проходя тропой мимо рябининского дома, увидел на крыльце светловолосую царевну, а около крыльца — онемевшего, ошалевшего егеря...

4

Совсем стемнело, а старик Селиванов все еще сидел на колодине вблизи рябининского дома. Но вот в фигуре его наметилось какое-то движение: он фальшиво закашлялся, заохал, неохотно поднялся. И вдруг решительно, твердо направился к дому, в единственном, освобожденном от досок, окне которого уже мерцала желтым светом лампа.

От того места, где когда-то была калитка, в сплошных зарослях кустарника и сорняков появилась прорубленная, вскопанная и плотно утоптанная дорожка до крыльца, тоже чуть подправленного, ровно настолько, чтобы не переломать ноги.

Селиванов постучал сначала рукой, приставив ухо к двери. Затем — рукоятью трости. Когда послышался скрип внутренней двери и шаги, он отступил на шаг и сгорбился сильней прежнего.

Дверь подалась внутрь. Селиванов ахнул и отпрянул на самый край первой ступеньки. На пороге стоял седобородый старик.

— Чего? — спросил он спокойно и равнодушно.

Селиванов зашмыгал носом, делая непонятные жесты руками, но и слова не вымолвил, пораженный видом Рябинина.

— Ну?

— Не узнаешь, Иван? Это я, Ваня! — сказал, он наконец, тихо и взволнованно.

Рябинин смотрел спокойно, и не понять было: то ли вспоминал, то ли не хотел вспомнить... Но вот отступил внутрь, не убирая руки с двери.

— Заходи!

Селиванов притворился, что не понял ответа, и дождался, пока тот повторил.

Он тщательно вытер ноги и прошел через сени в избу. За порогом снова пораженный замер. Посередине такой густой черноты стен, потолка, пола и воздуха, что даже лампа ее не рассеивала, в центре, словно принявшая в себя всю слабую силу керосинового пламени, висела или, вернее, парила икона, а лик на ней (что и привело Селиванова в онемение) был писаной копией того, кто впустил его в дом и кто был некогда Иваном Рябининым. Степень сходства могла быть и плодом воображения пораженного Селиванова, к тому же Рябинин раньше бороды не носил. Но само сходство, несомненно, было. И в черных сумерках еще неожившего дома казалось, что вокруг нет ничего, кроме лампы, висящей в черной пустоте, и двух ликов. Селиванову стало не по себе. Он вдруг перекрестился, но не завершив креста и будто спохватившись, стал поправлять пиджак. Смущение его и суету хозяин дома заметил, но не отозвался. Он стоял возле стола, рядом с лампой и образом, словно для того, чтобы Селиванов

уловил жутковатое сходство. На нем была рубаха навыпуск, перекрытая белой бородой, серебрившейся в свете лампы каждым волоском. На голове — необычный расчес волос, во всей фигуре — особый уклон плеч. Но главное — лицо. Оно было не просто спокойное, а как бы нездешнее, несущее в себе такие тайны, которых ни касаться, ни разгадывать было нельзя.

— Проходи!

Будто и не раскрыл рта Рябинин, — усы и борода скрыли движение губ, а голос как из-за спины его вышел. Селиванов трусливо крякнул и засеменил к столу, не отрывая взгляда от хозяина; наткнулся на скамью и, как слепой, нагнувшись, обшарил ее руками.

— Садись!

Селиванов покорно присел, виновато улыбаясь.

— Жив, значит!

— Да, вот... жив... — сказал он, словно сокрушаясь об этом. После паузы добавил: — И ты, Ваня!..

Имя же произнес так, будто сомневался, что перед ним действительно Иван Рябинин, его таежный друг, будто допуская возможность, что под обликом его кто-то другой объявился, кто мог бы и не признать Селиванова или знать его только понаслышке.

А Рябинин стоял прямо, и так же прямо смотрел на него, теперь — сверху вниз, ни одной морщиной, ни одной черточкой лица не выдавая своих дум. Селиванов растерянно забегал глазами.

— И домишко-то... жив.... — пролепетал он и совсем жалостно, по-собачьи заглянул Рябинину в глаза. Тот ничего не ответил, обошел стол и исчез в темноте дома. Селиванов и обернуться не посмел. Там, за его спиной, послышался стук посуды, что-то передвинулось, что-то открылось и захлопнулось.

Потом Селиванов увидал руки Ивана, через его плечо поставившие банку тушенки и стаканы. Правая рука, чуть задержавшись на столе, через мгновение мягко легла на его плечо и пробыла ровно столько, чтобы Селиванов начал шмыгать носом.

Пальцами робко коснулся он этой руки. И было мгновение, когда все вокруг поплыло тоскливой, счастливой каруселью. Селиванов, не стыдясь, всхлипнул и тоненько сказал: „Ва-а-аня!" А когда рука друга ушла, плечо долго еще благодарно ощущало ее.

На столе уже стояли тарелки и сверкали новенькие вилки и нож, купленные день или два назад; они были точь-в-точь, как в столовке зверопромхоза. Селиванов взглянул на них (не для охотников такое!) и вытащил из кармана поллитровку. Он попривык уже к сумеркам и смог рассмотреть, что все вокруг чисто и к месту прибрано. И хотя следы полного разграбления дома (куда их денешь?) вопиют о себе, но в доме — человек, и дом оживает, даже с заколоченными ставнями (кроме одного окна), приобретает зрение и дыхание. Но сырость, запах тварей, ползающих и летающих, бродячих кошек и собак, запах земли, что подступила ко всем прогнильям пола, вместе с чадом лампадки перед иконой (Селиванов все не мог рассмотреть, как она закреплена, будто в воздухе висит) напоминали ему чье-то отпевание (может, и деда), что сохранилось с детства самой потайной памятью. И потому, когда разливал водку в стаканы, почудилось, что на поминание разливает.

Пододвинув Ивану стакан, он поднял на него глаза и взглядом спросил, можно ли ему радость свою показать и выразить лицом и словом. Иван перекрестился, без важности, а как в порядке вещей, сел на скамью напротив Селиванова, взял

стакан в руку, но не поднял, а долго смотрел то ли на него, то ли сквозь. И Селиванов успел разглядеть его пальцы, будто обрубленные по половинкам ногтей, сплющенные и грубые настолько, что вроде бы и сгибаться не должны. Таежное дело — тоже грубость, но тайга так руки не уродует. Когда стаканы подняли, наконец, и сдвинули без тоста (Иван молчал, а Селиванов не решился) и пальцы их соприкоснулись и оказались рядом, он затрепетал перед теми годами и дорогами, которые прожил и прошел его друг. И подумалось ему, до чего ж он, Селиванов, везучий, и трижды „Господи" в уме произнес без всякой конкретности, но означало это, что благодарит он судьбу свою за то, какая она есть.

Выпили, поморщились, вяло пожевали тушенку.

— Рассказывать чего, али сам все знаешь? — спросил Селиванов. И опять побоялся Ивану в глаза посмотреть. Уж, кажется, совесть его чиста была, — более того, имел все основания для благодарности со стороны Ивана, а в глаза глядеть не мог по той вине, какая может быть между живым и мертвым, удачливым и неудачливым, прямым и горбатым. Но нужен был ответ Селиванову, потому взглянул Ивану в лицо и увидел в глазах тоже страх. Иван боялся услышать правду, которая, будучи незнаемой, была надеждой; и ею можно было жить всю жизнь, и даже жизнь продлить ею можно, когда каменья градом сыпятся. А правда? Она что? Она — факт! И может оказаться последним камнем на шее...

Рябинин сглотнул слюну так, что борода дернулась, и сказал глуховато, вроде и без волнения:

— Ничего не знаю. Говори! Да не шибко длинно...

Это означало, что если ничего хорошего сказать не можешь, не тяни резину. Селиванов так и понял.

— Дочка у тебя есть, Ваня, и внучок...

Снова дернулась борода Рябинина. Спокойные до того момента глаза словно напряглись изнутри — не то болью, не то радостью, не поймешь... И еще глуше спросил Иван:

— А жена, значит...

Селиванов опустил глаза, сжался плечами, пальцы забегали по краю стола.

— Давай рассказывай... налей сперва...

Выпил он, не дожидаясь Селиванова, перекрестился, словно храбрости просил у Бога, и грузно навалился локтями на стол.

— Говори, не тяни душу!

— Ну, значит... — спохватился Селиванов и отставил невыпитый стакан, — как тебя повязали, я поутру еще, до петухов, с телегой подкатил, погрузил их, вещички прихватили кое-какие... на окна да на двери — кресты, и обходом на Кедровую, а оттуда в Иркутск, к тетке моей, по отцу которая. Она еще в двенадцатом годе за фабричного вышла... Боялся я, Ваня, что Людмилу твою пометут за происхождение, как дознаются... У тетки их пристроил с дочкой, а сам — назад, разведать, за что тебя-то. Был слушок, что тебя тоже в Иркутск увезли...

— В Иркутск, — мотнул бородой Иван.

— Во! Я так и сказал ей, дурья моя голова, что здесь где-то Иван, в централе, может. Она в ноги: поди, говорит, узнай, из-за меня, говорит, пострадал Ванечка! Ну а куда я пойду, ты сам теперь рассуди! Кто чего сказал бы мне? А она руки целует, иди, говорит. Ну, я по Иркутску пошлялся, вернулся, говорю: узнал, тут он, разбираются, можа, по ошибке повязали, отпустят... Ты, говорю, подожди недельку, если не отпустят, я снова пойду...

В горле у Селиванова пересохло, он прикашлянул; вспомнив про водку, почти залпом проглотил, что в стакане было, и на закуску не взглянул.

— Тут, конечно, я виноват, Ваня, и можешь ты меня казнить, как хочешь... только оставил я ее у тетки и сбегал в тайгу на пару дней, дела были, пропади они пропадом, да ведь кто знать мог... Только когда в Иркутск приехал снова, Людмилы уже не было. Тетка — в страхе, дите у ней на руках в слезах... Сказала она, что идет Ваню выручать, и пропала... И все...

Иван грохнул кулаком по столу так, что Селиванов подскочил и от стола отодвинулся. Но взял себя в руки Рябинин, только глаза закрыл. И так, с закрытыми глазами, сказал: — Дите ж должно было быть... сына ждали...

Селиванов виновато молчал.

— А дочь?

— А дочь... все в порядке, Ваня, — заговорил тот быстро и облегченно. — Вырастили! Нужды она не знала, сама тебе скажет! Выучилась она на учительницу, замуж вышла, за учителя тоже... Ничего мужик...

Последнее Селиванов проговорил не очень уверенно и, поймав вопрос в глазах Рябинина, поторопился разъяснить:

— Муж он ей хороший, ей-Богу, не обижает... Шибко партийный он только, у меня с ним разговору не получалось...

— Дурак, что ли?

— Чтоб сказать дурак, оно вроде и нельзя! Сам увидишь! Людишки так вокруг все поизменялись... Жить-то полегче стало. И оно понятно! Ежели один будет пахать с утра до вечера, то другой грабить будет не успевать... Да и власть вроде в лютости поостыла, а мужик ей тут же гимну подпоет под ее ж трубы... А людишки, они теперь, окромя взаправдашних дураков, безглазые какие-то... Смотришь им в зенки, а там только большой кружочек да

малый. Малый туда-сюда бегает... А жизни в ем нет! Глядишь на человека, а человека не видишь! Ему сс...ь в глаза, а он тебе про культю личности...

— Не мели! — с досадой перебил его Рябинин. — Дочь-то про меня знает?

Селиванов опять глазами забегал.

— Ты ведь, Ваня, того, враг народа... Как бы ей жить-то? Пытала она по детству, где, мол, мамка да папка... Ну, говорил, мамка, дескать, померла по болезни, а папка, ну это... пострадал, мол, безвинно.

Увидев страдание на лице Ивана и белеющий в костяшках кулак, он снова заспешил:

— Но худого слова про тебя не было, Ваня, сама тебе скажет!

— Как она скажет, — простонал Рябинин, — если не ждет меня! А если объявлюсь, каким глазом посмотрит на меня, каторжника!

— А как я ей скажу, так и посмотрит, и никак подругому! — вдруг заносчиво вскинулся Селиванов.

— Ты?!

Селиванов смутился.

— Баловал я ее, Ваня. Любит она меня, сукиного сына! Я ж ее мехами, как королеву, разукрасил! А в Иркутск без гостинца не приезжал! Все мои стволы на ее работали! Да и я к ней прилепился сердчишком...

Тут ему показалось, что наболтал лишнего, и поторопился загладить болтовню.

— Но ты на меня ревность не имей, Ваня! Я ведь, если по правде, и сам тебя уже не ждал... А теперь я ее тебе передам, как в рамочке! Когда скажешь, и поедем! Хоть завтра. А?

— Поедем... — неуверенно ответил Иван. — Кончай банку!

Селиванов разлил по стаканам остатки.

Электричка моталась, дергалась и будто спотыкалась о каждый километровый столб. Защелка в двери купе не работала, и дверь со скрипом елозила туда-сюда. Мимо купе все время сновали люди: кто сходил, кто садился, кто бегал из вагона в вагон. И в купейном вагоне не было спасения от суеты и шума. Ягодники с горбовиками и ведрами понабились в тамбуры, и оттуда в вагон клубами шел дым и гомон с непременным матом и анекдотами.

В купе несколько раз заглядывали, но увидев двух насупившихся стариков, проходили мимо. В соседнем купе бренчали на гитаре и орали какую-то дребедень. Все это мешало и думам и разговорам.

— Если тебе десять дали, пошто так долго был?

Рябинин смотрел в окно, ответил не сразу.

— Тяжко было. В побег ходил.

— В побег! — удивленно воскликнул Селиванов. — Так чего ж сюда не прибег?! Кто тебя здесь нашел бы?! Жил бы как царь таежный!

— Досюда добраться надо! — угрюмо ответил Рябинин. — Три раза я из лагеря уходил, и в первой же деревне вязали!

Селиванов хлопал глазами, карежась от стыда за друга.

— Да как же ты давался им? Неужто никто не уходил!

— Уходили, — вздохнул Рябинин. — Да только с кровью... А я того не хотел!

Наткнулся на непонимающий взгляд Селиванова, пояснил:

— Я себе воли за чужую жизнь не хотел! Не понять тебе...

— Точно! Не понять! Ни за что ни про что хапанули человека, загнали в загон, да чтоб за свою волю глотки не рвать — я того понять не могу! Ты

уж извини, Ваня, только так вам и надо, стало быть, коли волю ценить не умеете. Хомутники!

Он раздраженно стучал ногой по полу и барабанил пальцами по столику у окна.

— А на что она, воля, — спокойно возразил Рябинин, — когда без облика человечьего останешься? Она — звериная воля получается! Я на зверей насмотрелся...

— А что полжизни в яме провел, это ты облик сохранил, да? А на что ж тогда жизнь? И на кой хрен бежал, если уйти не надеялся? Сроку себе прибавлял?

Рябинин поморщился досадливо.

— Говорю, не поймешь! Невмоготу было... Иной раз скажешь себе: нынче на все пойду! А не получалось! Из зоны уйдешь, на дороге мужика встретишь и знаешь: сейчас побежит и расскажет, и найдут по следу... А все думаешь, может, не выдаст, рожа у него человечья, а почему бы душа — нет?

Селиванов хлопнул ладонью.

— Я этого не понимаю и понимать не буду! Но вот, не в обиду будет сказано, ты в Слюдянке напервой в церковь потопал, попу ручку целовал... Бог-то, Он чем тебе в яме помогал той?

— Помогал, — ответил Рябинин. — А чем, про то ничего сказать не могу... Не потому, что слов нету, а потому, что ты этих слов не знаешь.

Тот раздраженно хмыкнул.

— Не тебе Он помогал, ежели Он есть, а мне, и потому я своей волею жизнь прожил и никакая стерва меня с моей тропы не согнала! А ты для воли своей руки не хотел марать...

— Души, а не руки! — поправил Рябинин. — Руки — что!

— Ну, пусть души! А чего ж Он тебе не помог уйти, чтоб и душу соблюсти и воли не терять?

— Не надо об этом, Андриан! — попросил Рябинин. — Ни до чего мы не договоримся! Ты свое прожил, я — свое! Чего меряться-то?..

Селиванов налег грудью на столик.

— Так ты что, жизнь свою не жалеешь нисколько?!

— Жалею! — вздохнул Рябинин. — Но, кроме жалости, еще и другое понимаю кое-что, в другой раз поговорим... Невмоготу мне сегодня! Сам знаешь, куда еду!

Неспроста задирался Селиванов на разговор. Конечно, он был рад возвращению Рябинина, но с его возвращением что-то хрустнуло в жизни Андриана Никанорыча, и не только в жизни, но и в теле. Вдруг поясница заговорила, и ноги отяжелели, в руках — дрожь, как у алкашей совхозных. И это все сразу, почти в несколько дней. Самое худшее: вдруг потерял интерес к тайге. Неделю занимался устройством дел Ивана, дом чинил, участок приводил в порядок, обшивал и одевал друга, чтоб как все люди, — и за эти дни даже не вспомнил про тайгу. А когда вспомнил, затрясся от удивления; не тянет его туда! Тогда поступил вопреки желанию: отсрочил поездку в Иркутск (хотя до того сам торопил Ивана, никак не решавшегося показаться дочери), а сам побежал в тайгу на Гологор, где обитал последние годы. И там прихватила его простуда, чего отродясь не бывало, чтобы летом к тому ж. А и дел-то всего — ноги в болоте промочил! На третий день вернулся и провалялся у Рябинина несколько дней, так крутила и вертела его болезнь. Стыдно было перед Иваном. Когда окреп, снова побежал в тайгу, словно проверял себя. Гульнул с бичами* на базе, а когда вернулся в зимовье свое, то понял: кончилась для него таежная жизнь. Отлетела тайга

---

*Бродяги. — Ред.

от души и стала где-то рядышком, особняком.

Было и другое. Иванову дочку и внучонка до недавних дней считал своими. И хоть зятя не любил, побывка в Иркутске, пусть два, пусть три раза в году, была его душе отрада. Теперь, с возвращением Ивана, кто он им? Пусто стало. Больно. Да и вся его жизнь (разве не гордился ею?) вдруг стала задавать Селиванову вопросы о себе: дескать, что она есть, к примеру, перед Ивановым Богом? Ведь если для Ивана Бог есть, а для Селиванова Его нету, то Иванов-то Бог на селивановскую жизнь тоже со Своей колокольни посмотреть может! И как же она ему при том покажется? Селиванов возмущался. То есть как она еще может показаться?! Кто больше сделал добра — он или Иван? Кто офицерскую девчонку спас? Кто Ивана осчастливил? Кто ему дом сохранил? А мешок денег, что накопил Селиванов за годы, они, деньги эти, на кого теперь пойдут?

А что Иван сделал за свою жизнь путного? Он, вишь, души марать не хотел! А при всем том у него свой Бог имеется! А чем он Его заслужил?

Селиванов путался в своей обиде, словно кляча в порванной упряжке. Все годы до исчезновения Ивана он жил тайным превосходством перед ним, оно никому не шло ни во вред, ни на пользу, у Ивана ведь тоже было свое превосходство перед ним! Даже тогда, когда Иван женился на офицерской дочке, когда она, эта благородиева, не взлюбила Селиванова, когда своим розовым коготком провела царапину по их дружбе, когда появилась в доме кричащая малявка и Ивану вообще было не до него, — тогда самое главное оставалось на месте. А теперь, когда и жизнь-то уже доживается, когда Селиванов почти готов к тому, чтобы плюнуть на всякие превосходства и вздыхать одним голосом с другом, пришедшим с того света, теперь вдруг зака-

чалась, зашаталась стволина его уважения к себе. Или другое что произошло в душе, но стала она болеть, как поясница перед непогодой...

Еще представлялось Селиванову в те годы, когда думал он о старости своей, что когда придет она (куда от нее денешься?), то будет он за свою жизнь мудростью и спокойствием души награжден, когда на все смотрится с высоты прожитого и ничто возмутить дух неспособно. Так и видел себя: с прищуром и спокойной усмешкой ко всему — к словам, делам, суете всяческой. Правда, старость не приходила, хотя года обступали так плотно, что все скучней и скучней становилось считать их. До недавних дней и вовсе не ощущал старости, а когда вдруг взглянул ей в очи, оказалось, что никакого спокойствия нет, а напротив, думы — одна больней другой, а душу скребут те чувства, которые к лицу сопляку неоперившемуся, а не ему, Селиванову, жизнь свою прожившую с понятием обо всем, что в жизни понимания достойно...

— Слышь, Ваня, заметил ты, этот ханыга с фотоаппаратом уже третий раз заглядывает? Чего это?

Рябинин равнодушно пожал плечами и не оторвался от окна, в которое смотрел или просто отвернулся, чтобы с мыслями наедине побыть.

А молодой человек в свитере не по сезону, в туристических брюках, с фотоаппаратом и большой планшеткой на боку снова заглянул в купе и на этот раз задержался в дверях, осматривая обоих стариков.

— Извините, я не помешаю вам, если сяду здесь?

— Места не закуплены! — не очень-то радушно ответил Селиванов. Но парень сел именно рядом с ним, правда, на почтительном расстоянии.

— Турист? — спросил Селиванов, не скрывая не-

доброй интонации.

— Художник я... У вас, кажется, был тут серьезный разговор... Я не решался помешать...

Рябинин взглянул на него бегло и снова отвернулся.

— Извините меня, пожалуйста... — неуверенно продолжал тот, обращаясь как раз к нему, — я художник... мне нужен типаж... то есть я хочу сказать, если позволите, я попробовал бы рисовать вас...

— Вань, слышь! — окликнул Рябинина удивленный Селиванов. Тот пожал плечами и тоже удивленно посмотрел на парня.

— Зачем тебе?

— У вас, как бы это сказать, лицо очень характерное... для художника находка...

— Ишь ты, находка! — ревниво откликнулся Селиванов, и, уловив эту ревность, художник поспешил объяснить, чтобы предупредить неприязнь.

— Всякий человек по-своему неповторим, но мне для работы определенный типаж нужен...

— Рисуй, коли он тебе понравился! — прервал его Селиванов. — Только все ли твой глаз подметить способен?

Торопливо раскрыв планшетку, парень вынул чистые листы, подложил картонку, достал два карандаша и тем, что потоньше, сразу черкнул несколько кривых линий. Электричка дергалась и моталась, и руки его напрягались. Селиванов же отодвинулся, показывая, что его это баловство нисколько не интересует. Но какое-то беспокойство мешало ему сохранить равнодушный вид, и он то и дело зыркал глазами на карандаш, торопливо бегающий по бумаге; но что там происходило, видеть не мог, потому что далеко отодвинулся.

— А ты бы все ж объяснил мне, темному челове-

ку, чего это ты именно его рисуешь?

— Ну, я не только его, я многих рисовал. Если хотите, покажу! — Он было полез в планшетку, но Селиванов махнул рукой.

— Кого ты там рисовал, это твое дело! А вот *он* тебе чем приглянулся? Борода, что ли, понравилась?

— И она тоже! — улыбнулся художник. — Когда-то с таких лиц писали святых...

— Слышь, Иван, к святым тебя причислили!..

И Селиванов залился нервным смешком. Рябинин не то чтобы смутился, но почувствовал себя неудобно и нахмурился, косо взглянув на художника.

— Значит, облик тебе его понравился? — язвительно хмыкнул Селиванов. — А где он этот облик заработал, не хочешь знать?

— Андриан! — одернул Рябинин.

— Да молчу, молчу! Это я так...

Но парень перестал рисовать и, вопросительно взглянув на Селиванова, уставился на свою модель. Потом сказал задумчиво:

— Мой дед по матери тоже... заработал, как это вы сказали, облик. Только совсем другой... У него тоже была борода... А под бородой — страх...

— А у него что ты видишь под бородой? — съехидничал Селиванов.

— Теперь уже не знаю, — тихо ответил парень, взглянув на листок. — А сначала... все наоборот...

— Да уж будь уверен, — гордо заявил Селиванов, — мы не из того дерьма вылеплены, что твой дед! Мы сами кого хошь на страх возьмем!

— Ну почему же, — возразил художник, — мой дед — из старых коммунистов! С бандами воевал, коллективизацию проводил. А вернулся оттуда в страхе и умер... почти от страха... Я его, конечно, не сужу, там не курорт...

— Не верю, что сможешь нарисовать! — категорически заявил Селиванов. — Докажи, что можешь! Рисуй! А то уже Иркутск скоро!

— Почему вы не верите? Вы же не видели...

— Рисуй, потом поговорим! Во! К нам еще пассажиры!

Животом проталкивая впереди себя громадную корзину, полную, видимо, ягод и поверху закрытую листом осины, в купе втиснулась полная низенькая женщина лет пятидесяти, в мужском пиджаке, юбке чуть ли не из солдатского сукна и в резиновых сапогах. И хотя Селиванов довольно приветливо встретил ее, она усаживалась и устанавливала корзину с таким видом, будто отвоевывала принадлежащее ей по праву, но присвоенное кем-то. Красными, слезящимися глазами враждебно осмотрела всех, поджала губы и уставилась в точку между художником и Селивановым. Поезд дернулся.

— У, гад! Будто не людей везет, а скотину! — проворчала она зло.

— Ягодку собирала? — елейно спросил Селиванов.

— А чего ж еще! Будь она проклята! — ворчливо ответила женщина.

— А кто ж неволит-то?

Она насупилась.

— А ты попробуй на мою зарплату пожить, потом спрашивай!

Глаза ее сильней покраснели и заслезились.

— А у нас тут вот художник... — Селиванов кивнул на паренька, — хошь, он твой портрет накатает во всей красе?

— С жиру бесятся! — отрезала она, отворачиваясь с обидой.

Художник удивленно взглянул на нее, на Селиванова и снова на нее.

— Почему же? Это моя работа...

— Работа! — презрительно хмыкнула женщина. — А ты бы попробовал за прилавком десять часов простоять да три тонны картошки перевешать! А тебя еще кто хошь обгавкает как собаку! А домой придешь, там свой паразит нажрется как свинья, и обмывай его!..

— А ты прогони его да работу полегче найди! — посоветовал легкомысленно Селиванов.

— Дурак старый! — закричала она, всхлипывая. — Такие, как ты, баб до сроку в гроб и загоняют! Убивать вас надо, паразитов!

— Зачем шумишь? — сказал спокойно Рябинин. — У каждого своя беда.

— Да у тебя-то какая?

Но, взглянув в лицо Рябинина, сникла, швыркнула носом и замолчала. И все молчали, пока в окне не блеснула слюдою Ангара. Поезд прибывал в Иркутск. Ни с кем не прощаясь, женщина, водрузив корзину на живот, выкатилась из купе.

— Ну, покажь, что намалевал!

— Не успел! — буркнул художник.

— Э! Так не пойдет! Покажь! — потребовал Селиванов.

Рябинин тоже поглядывал на листок. Селиванов взял рисунок, и лицо его помрачнело. На нем был Иван, всякий узнал бы. Но еще больше там был тот самый святой, чей образ висел в доме Рябинина. И Селиванову стало так тошно, что он, не показав рисунок Ивану, сунул его художнику.

— Убери свое малевание!

Парень пожал плечами.

— Спасибо! До свидания! — сказал он холодно и выскользнул из купе.

— Тебе ни к чему видеть было, — угрюмо пояснил Селиванов. — А то начнешь на лопатках крылышки выщупывать! — Он покачал головой. — Надо же! Со-

пляк совсем, в мозгах понос, а рука умная! Как это так может быть, чтобы рука умней головы была? И ты вот что мне скажи, Иван: почему люди своим хомутам преданы? Вот эта баба. Пошто терпит и мужика своего и каторгу? Я бы повесился! Как можно жизнь терпеть, когда она нестерпима?! Ведь баба волчицей стала с такой жизни, а за хомут держится! Ты приглядись, Ваня: все злы, как волки, а все пашут и пашут, и копытами не взбрыкнут! Зверь и тот умней, он ищет, где лучше! Пасти обидчикам рвет! Ведь вот заяц, к примеру, на что трусливая тварь, а если коршун его на пустыре берет, так он на спину хлопается и когтями коршуну кишки выпустить может! А с людьми-то что сталось? Промеж собой хуже волков, а с волками хуже зайцев!

— Приехали...— Иван поднялся и снял с верхней полки чемодан.

Селиванов вздохнул и тоже поднялся. Они вышли последними.

— На трамвае поедем?

— Ты что, рехнулся? — гордо вскинулся Селиванов. — Я по тайге всю жизнь мотался, чтобы на этой трясучке ездить? — И потащил Рябинина к стоянке такси.

— Куда поедем, диды? — весело спросил парень-таксист.

— За Ушаковку! — важно ответствовал Селиванов, разваливаясь на сидении. Рябинин, покосившись на счетчик, как на ползучего змееныша, тоже устроился удобнее, а откинуться на сидение его заставил лихой рывок таксиста.

— Ты помягче, помягче! Нам прыть ни к чему,— проворчал Селиванов.

С ангарского моста открылся вид на Иркутск. Иван вздохнул без сожаления.

— Не узнать города!

— Причесали! — согласился Селиванов. — Погляди, как людишки одеваться стали! А ты костюм одевать не хотел! Все свое потомство перепугал бы в том виде!

— И так, поди, перепугаю!

— Не боись, Ваня! — успокоил тот. — К своей родной дочке едешь. А отец, он ведь всегда — отец! Кровь — она главнее всего, она всегда свое слово последним скажет!

— А все одно тревожно на душе! — вздохнул Рябинин, запустив пальцы в бороду.

— Давно дочку не видел? — спросил шофер, не оборачиваясь, но в зеркальце встречаясь взглядом с Рябининым.

— Давненько, — ответил он неохотно.

— Понятно! Бывает.

— Ишь ты, понятливый какой! — усмехнулся Селиванов.

— А чего ж тут понимать! Не первого такого везу! И поразговорчивей бывали! Так что соображаем, что к чему!

— И чего ж хорошего рассказывали те, что говорливые?

— А мы чужих разговоров не пересказываем! — со значением ответил шофер, в зеркальце подмигивая Рябинину. — Из каких будете-то? Из „высоких" или из простых?

— Что?

— Это он спрашивает, из мужиков ты или из звездачей! — пояснил Селиванов. — Из мужиков он!

— Понятно! И много вас там было?

— А сколько осталось, не интересуешься?

Шофер обернулся, удивленно посмотрел на Рябинина.

— А чего, разве не всех выпустили? по культу-то?

— Во! — довольно крякнул Селиванов. — И у этого в мозгах понос! А ты, поди, думал, что у тебя вся правда на ладошке? Направо давай! К новым домам!

Шофер торопливо закрутил баранкой, съезжая в море грязи и спотыкаясь всеми четырьмя колесами на невидимых выбоинах. Рябинин в зеркальце видел его сумрачное лицо.

— Ко второму дому, последний подъезд!

Когда Селиванов расплачивался, шофер спросил:

— Останетесь тут или подъехать, когда скажете? Это я могу...

Селиванов расчувствовался.

— Спасибо, милок! Только сам не знаю, как дело обернется.

— А вы тоже там были?

Селиванов показал кукиш...

У самой двери Иван взял Селиванова за рукав.

— Погодь! Отдышаться надо... Может, сперва один зайдешь, скажешь: так, мол, и так...

— Ага! — язвительно закивал Селиванов. — Так, мол, и так: за дверью папаня ваш стоит, можа, пустите в дом?

— Не понимаешь ты...

— Чего не понимаю, того Бог не дал понимать! Мне своего понятия хватает! А ты свое понимай! Ты ни перед кем вины не имеешь! А пусть мне покажут, кто перед тобой не виноват! Пошли!

И он нажал на звонок.

Взяли длинную, на палец разведенную пилу и распилили человека повдоль, и осталась только половина человека!

Знать бы Ивану, как дело повернется, да разве стал бы он приставать с законом к этому гаду бровастому? Да шут с ним! Пусть бы настрелялся

вдоволь да смотался в город. И ничего бы не было... Ничего бы не было? Только подумать, ничего бы не было! Как подумаешь, выть хочется по-звериному и колотиться головой, бить и крушить все подряд! Но ни бить, ни крушить нельзя. Можно только выть негромко, и мотать головой, и царапать ногтями стриженую голову...

За шиворот схватил он в тайге браконьера, не первого за свою службу, зато последнего. Чином оказался! И „пришили" террор и связь с бандой... Закричал Иван в суде лихим голосом о правде, позорно это было: здоровенный мужик орет, выпучив глаза; и непонятно — то ли растерзать всех готов, то ли на колени упасть... И то и другое мог сделать, да не дали. Торопились.

Распилили человека пополам, душу распилили в день цветения, в день радости. И рвал на себе рубаху Иван, и говорил себе сурово, что так ему и надо,что — слишком большое счастье, не по себе отмерил! Не зря долго поверить не мог, не зря же ночью просыпался и свечу запаливал, чтобы увидеть лицо жены на подушке рядом: она ли, мол? не приснилось ли!?

Первый год в неволе каждый день отсчитывал, как жизнь кончилась. После просто годовщины отмечал: что было в этот день два, три, четыре года назад. Тогда-то вот в этот же день, во столько-то часов зашел Селиванов в дом, а за спиной его *ОНА* стояла; а в такой-то день и в такой-то час, когда сидит он теперь в пересылочной камере, сказал он ей тогда языком корявым, что дескать, может быть, поживет она у него еще малое время. А потом, это было в час вечерней поверки, тогда сказала она ему, что хороший он человек! А четыре года назад в эту ночь... Господи! Да было ли это? Уж пусть бы лучше не было! Пусть кто-нибудь скажет, что не было, хоть в шутку скажет, что не было ни-

чего этого, что придумал, что с рождения и по сей день горизонтом ему запретка, а все остальное — приснилось!

Но у всех, с кем ни заговори, было такое же, и все разрезаны пополам, мыкаются друг с другом полулюди и рвут друг другу души своими горестями.

И сколько вокруг их, людей! Из одного места — в другое, оттуда — в третье, и везде люди, и вокруг них проволока! Господи! Да остался ли кто еще там, по ту сторону? А может быть, той стороны уже и вовсе нет? А вся земля — одни круги и квадраты заборов и запреток!..

Но нет! из щелей пересылочного вагона видна жизнь. Да разве легче оттого, разве не больнее?

А еще были запахи! От запаха пошел Иван в первый побег и срок себе удвоил. Слыл он тихим мужиком. Вел его солдат одного по лесу, и вдруг на пути — рябинник, да как ударит знакомым запахом: голова закружилась, дыханье замерло, в глазах — туман. Кинулся на штык, вырвал винтовку, разломил ее пополам об дерево и побежал... И выбежал... на соседнюю зону.

И потом еще сколько раз, чаще ночью, вдруг наплывали запахи: то домашние, то таежные, но еще тошнее — запах тела женского! И на глаза тьма опускалась от бровей, руки кусал, чтобы выбраться из омута.

На воле снов не знал. А тут пришли, да все про самое главное и потаенное. То поперек таежной тропы на колючую проволоку натыкался, пытался обойти ее, а ей нет конца — она сквозь деревья, пни и скалы проросла поперек жизни; или жену пытался целовать, а губы судорогой сводило; или из дому пытался выйти, а дверь с улицы заперта, на окнах решетки, а в двери дырка для кормушки; или мед-

ведя брал на мушку, а ствол тряпкой оказывался, а убежать не мог, ноги стопудовые стали. Это были сны страха. А были сны слез. Вдруг с крыльца барачного подпрыгивал он в воздух и взлетал над зоной, и вылетал из нее, а козырек на вышке мешал солдату стрелять, и солдат выл от злости, что улетает его внеочередной отпуск. Или вдруг, опустившись на колени перед нарами в поисках чего-то упавшего туда, обнаруживал под нарами лаз потайной, спускался туда и шел долго, а потом, ступеньками вверх, оказывался в подполье своего дома в Рябиновке, поднимал крышу руками над головой и видел радостное лицо жены и дочку-крохотульку, на него пальцем показывающую.

Просыпался в слезах и не презирал себя за них.

Сколько лет прошло, когда стала сивой дымкой подергиваться прошлая жизнь, потом — туманом, потом — стеклом заиндевелым, а потом стала эта прошлая жизнь будто и не его вовсе, а кого-то другого, за кого душа лишь стонала иногда, но не болела. И тогда душа стала рождаться заново. Среди людей и нелюдей встретились люди другого мира, и он потянулся к ним, к их спокойствию и невысказываемой мудрости. И не понятием, и не принятием, а чувством познал их истину. Оттаяло замерзшее стекло, и открылся мир без конца и края, без начала и конца, и всякий человек за спиной в том мире отражался лишь добром своим и всем тем, что едино у людей. Вокруг было много объясняющих, рассуждающих, злобствующих и поломанных. Раньше он всякого пытался понять применительно к своей судьбе, но у каждого был свой язык и свои слова, а судьбы — разные, и были все чужими. Теперь же каждый открылся единой бедой и страданием, а в утешении и помощи становился братом.

Не гладок и не ровен был путь Ивана Рябинина и

после того, как пришел к вере. Были срывы, сомнения хватали за горло, душили приступами отчаяния. Тогда взрывался он бесовской силой и совершал поступки дикие и нелепые. А как тому не случаться, когда изнасиловано естество человеческое, поруганы душа и плоть, когда сам облик людской искажен силой неправды! Но после, когда приходил в себя, каким чистым светом озарялась душа и высвечивала в себе всю темноту неизжитую...

Однако с неволей не смирился, никогда, ни единым словом не благословил ее, потому что если и понимал ее как благодать для прозрения, то не от добра, не от хорошей жизни объявилась для него нужда в этой благодати. Не может человек благословить боль, когда ножом вскрывает загнившую рану, чтобы предотвратить смерть.

И потому уходил в побег. Уйти или дойти уже не надеялся, но именно потому и уходил, что боялся привыкнуть к неволе. Боялся не срока, боялся забыть подлинный облик свой, облик человека, для свободы рожденного.

Первую прибавку к сроку принял как беду непоправимую. На вторую — вздохнул тяжело. Третью — не почувствовал. А когда помер самый главный начальник всех лагерей и когда начали выпускать безвинных, а его это не коснулось за то, что убегал и терпения не проявил к судьбе, тогда был самый тяжелый для него год, когда чуть было не порушил веру в себе, чуть руки на себя не наложил с отчаяния. И потом, когда опомнился, не обнаружил уже в себе жизни обычной, что состоит из надежд и грез, и всем внутренним взором обратился к той жизни, которая есть истинная правда обо всем и про все. По-новому зазвучали для него слова молитв, а каждое слово такую тяжесть в себе выявило, что произносил его одно, а высказывал в нем

тысячу. Душа зацвела новым цветением, и радости мира, коих лишен был неволей, пережились многократно и полно, и полнее потому, что, отрекшись, наконец, от жизни внешней, открыл себе глаза на жизнь, что в нем пребывала неуслышанной и неувиденной. Познал гордыню в себе и то, какую радость она удавливает в человеке. Когда в первый раз на минуту лишь испытаешь, каково пребывать в простоте сердца, после того гордыня горбом покажется! Воистину горбом, потому что при отречении от нее полностью — вся плоть в человеке вопиет противностью.

Однажды, без особой мысли об том и без всякого лицедейства, вдруг взял и простил обидчика. Раньше тоже, бывало, прощал, но всякий раз, как в табель заносил норму выполненную. А тут вдруг почувствовал, что не по долгу перед Богом простил, а просто обида сама ушла, будто ее и не было. Невелика была обида, да разве в том дело! Дело в светлости на душе, словно в затхлости карцера глотнул воздуха послегрозового. А после забыл и об обиде, и об обидчике, но весь словно замер, постигая в себе новое состояние тихого и радостного мира. Будто заходил он в домик, видимый со стороны всеми своими стенами по причине малости, заходил, — и оказывался домик внутри громадным и светлым дворцом, с бесконечным числом залов, лестниц и коридоров. И когда, вызываемый снаружи голосами суеты, возвращался и со стороны жизни суетной видел все тот же маленький домик, то трепетал сердцем оттого, что знал его тайну — внутри он больше всего того мира, в котором до того жил и страдал. Открылась главная правда. Мир радости человеческой необъятен в сравнении со всеми горестями, что могут выпасть по судьбе. Но нужно только найти к нему дорогу, и каждый

раз заново преодолевать каверзы ее, чтобы узреть свет иного мира.

Прежде сколько сил тратил он на притирку к людям: как бы доброго не обидеть, злого не разозлить, чужого не приблизить, близкого не утратить! Люди оказывались такими непонятными и непонятливыми, а с ними нужно было жить и уживаться, и приспосабливаться к ним. Страдал от голода и холода, и от лихоимства, — от чего только ни приходилось страдать? — но самые большие обиды бывали от людей. Людьми страшна неволя, — так он думал еще недавно. Но все изменилось. Получилось, что вроде бы совсем думать о людях вокруг, то есть гадать, перестал, а просто принимал их теперь, какими они были сами по себе, без его мнения о них. И перестал ошибаться, и более того: как это получилось, понять сам не мог, но больше вокруг него оказалось хороших, а не плохих, людей. И тогда изменилось отношение к нему. И не годы были причиной тому, что чаще стали называть его то „папашей”, то „отцом”, то по имени-отчеству. А он-то его, это отчество, и сам, казалось, не знал, только и вспоминал, бывало, что на перекличках этапных.

Освобождение (хотя знал свой день) оказалось неожиданным. Тревога вошла в душу утром этого дня; потом, когда выкликали на вахту, когда прощался с людьми, скорбя за них, когда оформляли последние бумаги, тревога росла, обращалась в беспокойство; а там и смятение пришло, когда оказался за проходной и на все стороны открылись дороги, ведущие никуда и ни за чем.

В Рябиновку? Осталось ли что от дома? Вспомнил Селиванова, давно уж его не вспоминал. Первые годы все присматривался к новым этапникам, почему-то уверен был, что не миновать и Селиванову доли невольничьей. Думалось почему-то,

что не выдержать ему этой судьбы, что сгинет непременно; и оттого со временем будто похоронил друга, вспоминая его как уже неживого.

А теперь подумалось, что, может, и уцелел Селиванов, больно уж ловок и хитер был.

Ни о жене, ни о дочери, ни о том, кто еще должен был родиться и теперь уже, наверное, вовсю жил, — ни о ком из них не думал, или старался не думать; да и какой прок, если даже они для него стали чужими, а он-то для них трижды забыт и похоронен и новой жизнью, как оградкой кладбищенской, отделен... Нет, к жене своей бывшей он и не хотел, захоти она того, вернуться. Для чего?! Те три весны, что прожили они вместе, три бревнышка в основании целого сруба, разве не ушли они под землю, не осели под тяжестью разлученных лет, разве построишь на них, откопанных, теперь хотя бы жалкую хибарку? Не выдержат! Другое дело — дочка и сын (или тоже дочь) ... Но об этом и вовсе думать не следует.

Так в Рябиновку? Что в Рябиновку, что в любое другое место, одинаково было Ивану. И поехал в Рябиновку, потому что другое место просто и на ум не пришло.

Дверь открыл мужчина лет тридцати и, увидев Селиванова, приветствовал его дружелюбно и по-свойски.

— Наташа! — крикнул он. — Андриан Никанорыч! Встречай!

С запозданием откликнулось сердце Рябинина на имя „Наташа".

„Господи! Дочь!" — мелькнула мысль, и сам удивился, будто до сей минуты не верил в эту встречу.

— Я нынче с другом, — предупредил Селиванов,

выталкивая Ивана вперед.

— Проходите, рады будем! — ответил молодой человек, не без любопытства рассматривая Рябинина, и Ивану это разглядывание было небезразлично.

Полу-девушка, полу-женщина кинулась к Селиванову и крепко обняла его. Увидев же Рябинина, смутилась и вежливо поздоровалась.

— Мой давешний друг, Иван Михайлович!

— Вот тебе на! — всплеснула руками Наташа. — Давнишний друг, а мы его первый раз видим! Чего же так?

— Сам его долго не видел! — ответил Селиванов. — Зато теперь — прошу любить и жаловать!

— Да чего в дверях-то! Проходите! А вы, Андриан Никанорыч, нас обманули! Вы когда обещали быть?

— Не получилось!

Рябинин не знал таким Селиванова. „Что в нем незнакомого?" — подумал он. И ответил себе сам: не он, Рябинин, отец этой красивой женщины, а Селиванов. Наталья не походила на мать, или походила очень мало. Но кого-то она напомнила Рябинину очень.

— Эх, Ваня, она же вся в тебя! — словно подслушав его мысли, сказал Селиванов. И Рябинин побоялся, что не сможет сохранить глаза сухими.

— Внучок где? — спросил Селиванов.

— Бегает! — ответил отец.

„Чей внучок? Мой, что ли? Или его, Селиванова? Господи! Не зря ли я пришел в этот дом? Им и без меня хорошо! Ах, поспешил! Поспешил!"

В небольшой комнате оказался накрытым стол. „Добротно живут!" — подумал Рябинин, рассматривая обстановку. — Ишь, напридумали! Такую мебель в деревенскую избу лишь на потеху ставить, а здесь смотрится. Светло".

Он бегал глазами по стенам, по мебели, на окна

косился, и все лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с дочерью, потому что чувствовал на себе ее взгляд, ее любопытство, — и ничего ведь более! „Это хорошо, — думал он, — что она не очень похожа на свою мать! Могла бы оказаться как две капли... как бы я тогда... Он нарочно старался думать все вокруг да около, чтобы спокойствие сохранить, а ведь уже руки еле сдерживал от дрожи, а внутри где-то дрожь маятой подбиралась к сердцу, а как до сердца доберется, слез не удержать...

— Сашок, ты, того, сбегай-ка за внучонком!

— Да чего за ним бегать, сам скоро придет!

Улучив момент, когда Наташа ушла на кухню, Селиванов взял за рукав ее мужа и шепотом объяснил:

— Ты, того, не обидься, сходи погулять с часок! Разговор у нас с Натальей будет! А тебя к нему опосля подключим! Будь мил, не обидься, погуляй!

— Какой разговор! Я могу, конечно!

— Вот и смоги! Ага! Тайн от тебя нету, но теперь так надо! И внучка покарауль, чтоб повременил... Серьезный разговор...

Пожав плечами, сделав равнодушное лицо, но очень плохо скрыв недоумение и обиду, он накинул пиджак, потоптался немного и буркнул: „Так я пошел!"

— Ага! Ага! — заторопил его Селиванов, услышав шаги Натальи.

— Ты куда это?

— За внучком! — успокоил ее Селиванов. А как только щелкнул замок двери, взял Наталью за плечи и посадил на стул напротив Ивана.

— Разговор будет, Наталья! Сиди! Сиди! Такой разговор сидя говорить надо! Пока... А там сама вскочишь!

И тут Рябинин впервые услышал грусть в голосе

друга.

„Отцовство свое передает мне! А есть ли у меня право на него?!"

— Такое, значит, дело, дочка...

Селиванов запнулся на этом слове и растерянно заморгал глазами.

— Я, стало быть, дочкой тебя называю, потому как... жись так сложилась... то есть как дочка ты мне была...

— Да чего это вы, Андриан Никанорыч! — не вытерпела Наталья, больно уж дрожал голос Селиванова. И Рябинин тоже прикашлянул, горло того потребовало.

— Твоя девичья фамилия... как она была?

Она смотрела на него удивленно, но тоже сжалась вся, предчувствуя то ли недоброе, то ли ненужное.

— Рябинина, сами знаете!

— Вот! — вздохнул Селиванов. — А против тебя сидит Иван Михайлович Рябинин, и он тебе есть отец родной! Такие дела...

Медленно перевела она глаза на Рябинина, а тот опустил их, будто уличенный, будто виноватый.

— Правда? — спросила она тихо.

Он поднял глаза, знал, что в них слезы, но что поделаешь! Вытер их рукавом и кивнул.

Селиванов взял стул, поставил его сбоку и, прокашлявшись, сказал:

— Вот ты так сиди и смотри на него! А я тебе буду сейчас рассказывать про отца твоего, про мать, про деда твоего, про жизнь буду рассказывать, которую тебе до того не было нужды знать!

5

Утро другого дня хоть и было понедельником, электричка оказалась забитой до отказа ягодниками, орешниками, рыбаками и охотниками. Честные отпускники едва ли составляли четверть этой шумной и пестрой толпы. Оттого, что большинство пошло на риск, то есть сбежало с работы, проявив хитрость, ловкость и проворство, в поезде господствовало настроение лихости и шального веселья. Всех слегка лихорадило. Люди жаждали активного общения, гоготали, суетились в невообразимой толчее и без конца извинялись друг перед другом. Они нещадно курили, подпаливая друг другу волосы, пиджаки, стряхивали пепел за шиворот и на головы низкорослым. Преобладали мужчины. В тех же местах, где оказывались женщины (к тому же нестарые), веселье выплескивалось через край — в разбитые и раскрытые окна тамбуров вагонов.

Ни злобы, ни ругани, ни оскорблений. Все это придет с избытком потом, на обратном пути, когда усталая, разочарованная толпа ринется назад, в город, в объятия скучной повседневности.

И для Селиванова, и для Рябинина толпа, да еще такая активная, была, как Божье наказание, потому что Рябинин отвык, а Селиванов терпеть не мог, когда ему наступали на пятки и загораживали видимость. Однако Селиванову невмоготу было сейчас оставаться один на один с Иваном. Он был им недоволен. Едва уговорив его переночевать у дочери, утром удержать его он уже не смог, и отъезд их был сверх меры тяжелым.

Селиванов разрывался от жалости к Наталье, презирая себя за это чувство, по его убеждению вовсе ненужное; какое ему дело, в конце концов, до Иванова баламутства! Иван, видишь ли, считает,

что зря они все это затеяли и что, мол, языка ему с дочерью не найти; что не отыщет она к нему чувств дочерних, а лишь тяготиться им будет... Откровенно говоря, Селиванов и жалел Наталью, и серчал на нее. Как-то по-другому все ему виделось; она же какая-то каменная стала — слезы лила и каменела. А у муженька ее, сукиного сына, и глазенки, глядишь, забегали, когда узнал, откуда тесть прибыл. Про какую-то „ребилитацию" ляпнул! Иван аж бровями дернул. А внучок, как ни подталкивал его Селиванов к Ивану, так и не подошел, косился лишь, упирался да сопел...

Еще чувствовал Селиванов, что больно все Ивану; и выходило, что затея эта одной болью для всех обошлась, и, может, правильно предлагал Иван: нужно было сначала походить ему около, посмотреть на всех издали, а после уж решать, объявляться ли, нет ли...

Но если по-честному: отчего торопился Селиванов? Разве не оттого, что хотел скорее отдать Ивану то, что отдавать — мочи не было, будто пальцы себе отсекал на руках! И что ж теперь получилось? И Ивану вроде б не отдал, и себе уже не оставил...

Они так и не протиснулись в вагон, выкрутили себе уголок у двери тамбура, уперлись руками в металлическую перекладинку на двери, спинами сдерживая напор толпы. Селиванов всем видом изображал, как он сердит на Ивана. Тот не замечал, думал о своем, вид у него был грустный, и как-то жалко он выглядел теперь в новеньком костюме, неподогнанном и коробящемся. Белая рубашка высовывалась из рукавов, лишь подчеркивая грубость и морщинистую желтизну Ивановых рук. „Старее он меня с виду!" — подумал Селиванов без удовольствия и без сочувствия, а так, как на ум

пришло. „Вот и дожили! Он — в клетке, я — на воле, а старость что мне, что ему...” Нет, это была неправильная мысль, несправедливая, и Селиванову хотелось подумать об Иване как-то так, чтобы в той думе была не жалость (ну ее к свиньям!), а понятие об Ивановой судьбе, особой и не для каждого. Ведь вот он сам себе такую судьбу даже нарисовать в мозгу не может и содрогание во всем теле испытывает, когда пытается представить только!

По тому, как дернулась борода, Селиванов понял, что Иван говорит что-то, и весь подался к нему, почти уткнулся в бороду лицом, чтобы в гвалте различить слова.

— Я говорю, если б отпустили меня сразу, через год, а я пришел бы, а жены нет и дитя на руках, поломался бы я тогда душой! Насмерть поломался бы!

Когда Иван начинал судьбу свою оправдывать, Селиванов скрежетал зубами. Это — по-бабски, когда мужик на беду с благодарствием крестится! Трудно поверить ему, соплями это дело пахнет!

— Не поломался бы! — крикнул он Ивану в бороду. — Покуралесил бы малость да выпрямился! Жись сильнее всего!

Иван покачал головой.

— Видел же ты, какая она была, Людмила моя! Зоря! Сколько прожил с ней, ни единым утром не верил, что моя, что не уйдет! За дверь выходила — в окно смотрел, не пошла ли к калитке! Не понять тебе, бобылю, что такое жена красивая, по первым годам особенно, когда в цвете вся и в ласке... Да вдруг — нету ее! Канула! Да по чужой вине!

Опять покачал головой.

— Поломался бы! Если б сама ушла, может, не поломался. Знал ведь, что залез с кирзовой мордой в хромовый ряд! А когда по чужой...

— Все равно б выжил! Выжил, говорю! — кри-

кнул Селиванов, оттирая плечом какого-то мужика, что втискивался между ним и Иваном.

— Ну, куды прешь! — прокричал он зло.

— Терпи, папаша! — отозвался мужик, вывертываясь обратно. — Вишь, тут одна красуля все норовит своим ведром мое хозяйство подчерпнуть!

— Нужно мне твое хозяйство! — крикливо отозвалась женщина, по голосу не из молодых. — Я от своего кобеля сбежала едва!

Мужики в тамбуре загоготали, и Селиванов нетерпеливо пережидал, когда они затихнут.

— А меня она не любила, Людмила твоя, хоть, кроме добра, ничего ей не сделал!

Старый упрек, не высказанный в свое время по адресу, был перекинут Ивану, но без обиды, а так, к слову пришлось. Очень хотелось Селиванову, чтобы Иван разуверил его, чтоб возразил. Хоть и не поверил бы ему, а приятно было б. Но Иван кивнул угрюмо.

— Их поймешь разве! Не могла она тебе простить, что шлепнул ты дружка ее!

— Дружка! — возмутился Селиванов. — Шатуну он был дружок, а не ей!

Иван пожал плечами, а Селиванов, захлебнувшись от ожившей обиды, отвернулся, поджав губы.

С полдороги в тамбуре начало легчать. Людишки разбредались по полустанкам, каждый знал свое особое — грибное или ягодное — место, обязательно потаенное. И вскоре уже можно было поискать сидячее место в вагоне, что Селиванов и сделал, оставив Рябинина в тамбуре. Через минуту вернулся довольный.

— Хватит ноги ломать, пошли сядем.

Сели на краешках сидений, друг против друга, соприкасаясь коленями.

— Да нет, — продолжал Иван будто только что прерванный разговор. — Зла она на тебя не имела... И благодарность знала, — это поверь мне!

Селиванов махнул рукой: дескать, ладно, чего там, сам все знаю, Бог ей судья! А про себя подумал о том, как жизнь она свою кончила, много ли мук испытала? Неужто ей выпало столько же, сколько Ивану! Ведь не мужицкая была — благородиева!

— Слышь, Иван, а какой она была фамилии по девичеству? Я ее отца только по отчеству да имени знал! А про фамилию так ни разу и не спросил! Неудобно было.

— Барская у ней фамилия была, дворянская. Говорила она, что на всю Россию их фамилий и дюжины не будет. Оболенская называлась.

— Чего? Оболенская?

Селиванов замер, пораженный чем-то.

— Не слыхал таких фамилий? А я вот в лагере слыхал и такие и еще всякие — из бывших.

— Я тоже, того, слыхал... — сказал Селиванов испуганно. И больше до самой Кедровой не проронил ни слова.

Было договорено еще поутру, что поедут они к Ивану, но в Кедровой Селиванов вдруг вздумал поехать в Лучиху, вспомнив дело какое-то. Иван ухмыльнулся добродушно, вспомнив пристрастие друга в былые времена к тайным делам. Прощаясь, он положил руку ему на плечо, посмотрел в глаза мягко и добро.

— Спасибо тебе за все! — Голос его дрогнул.

— Чего там... — смутился Селиванов, не избалованный в прошлые времена Ивановой сердечностью.

— За дочь спасибо и за все... Должник я у тебя неоплатный!

— Ваня! Чего говоришь! — взмолился Селиванов,

испугавшись дрожи в теле и влаги в глазах. Иван задумчиво глядел на него.

— Никогда тебя не понимал... Странный ты человек! Может, врал ты мне, что в Бога не веруешь? А?

Тот недоуменно пожал плечами.

— Не может того быть, чтоб не веровал! Во имя чего тогда добро творишь? — продолжал тихо Рябинин больше для себя, чем для Селиванова. — Неверующий, если и творит добро, то во имя свое!

— И я во свое имя! — пробурчал Селиванов, тяготясь Ивановыми рассуждениями.

Иван решительно мотнул бородой.

— Врешь! Не поверю! Коли не веруешь, значит, образ в себе сохранил!

— Да ну тебя с образами! Али забыл, сколько людишек за свою жизнь к твоему Богу до времени отправил! Убиец я! Сам говорил! Забыл, что ли!

— Не забыл, — ответил Иван, — оттого и не понимал тебя!

— Кончай, Ваня! Не люблю я эти разговоры!

Его уже карежило: болтлив Иван стал к старости!

— Давай иди на автобус, а я — на попутке... К вечеру жди, прибегу. Собак покормить не забудь! Зачахнут собаки без тайги, непривычные к веревке...

— Накормлю. А завтра давай в тайгу... Пора мне! Сперва не тянуло в лес, а нынче — надо.

— Сбегаем, Ваня, куда хошь, сбегаем! Хреновину ты пер тот раз, что тайга тебе чужая! Дыхнуть ее тебе надо! Беги! автобус!

Селиванов пошел к развилке, откуда шла дорога на Лучиху, а Иван — к автобусу; тот уже показался из-за поворота.

В автобусе оказалось много рябиновских. Они рассматривали Ивана. Те, что помоложе, — открыто и нагловато, другие — украдкой, но с еще большим

любопытством. Мест свободных не было. И вдруг — нашлось, рядом со скрюченной бабкой.

— Здравствуй, Иван! — сказала она, когда он сел рядом. — Не узнаешь, конечно!

Рябинин присмотрелся.

— Светличная никак!

Она горько вздохнула.

— Девку прогнала, чтоб поговорить с тобой! Сами-то место уступить не догадаются! Что хорошего видел, Иван, в далеких местах?

Он удивился такому вопросу. Ведь знала же, где он был! Может, оговорилась? Но нет. Светличная хотела знать, что *хорошего* бывает в *плохом* месте.

— Да как тебе сказать...

А сказать, и верно, не легко. Что хорошего?! Да ведь ничего, если меркой человеческого счастья примеряться.

— Да-а-а! — протянула она, будто поняла, как нелегко говорить ему. — Похоже, не озлобился ты?

— Не знаю, — честно ответил он. — Когда кажется, что не озлобился, а когда — нехорошо на душе бывает, оно вроде бы не злоба, а нехорошо...

— В Бога уверовал там?

— Откуда знаешь?

— Вижу.

Он посмотрел на нее с любопытством.

— Я вот с церквы еду, из Слюдянки. Батюшка проповедь читал, говорил, тайгу беречь надо, костры попусту не палить, потому как тайга есть Богом данное благо людям! О жадности говорил, через которую тайга порча бывает... Хороший батюшка!

Рябинин кивнул. Да, не все так просто было для него в этом деле. Привыкший чувствовать Бога через силу молитвы, через волю свою, боялся он

церкви, где тесно и душно; а главное, боялся услышать из уст священника что-нибудь непрямое и неправое, боялся обиду получить за Бога, если нечистоту увидит в святом месте. Один на один с иконой — это привычно, икона чиста и свята, в ней образ Божий Божьей благодатью запечатлен!

Ту икону, что теперь повесил в доме, подарил ему один мученик за веру, хранивший и прятавший ее несколько лет, как потом хранил и прятал ее Рябинин, правда, недолго — меньше года оставалось ему до выхода. По закону ничего нельзя уносить на волю, что в неволе нужнее. Неписаный закон. Но старец велел спасти икону, потому что доносы были и искали ее уже по всем возможным тайным местам. А не так уж их много в лагере... Через подкупного надзирателя вышла икона за проволоку, и унес ее Рябинин.

— Скажи, Ваня, — зашептала Светличная ему в пиджак, — ты больше моего видел да слыхал, власть-то нынешняя, она что, антихристова али как? Всяка власть от Бога опять же... А эта?

— А сама-то как думаешь? — только и нашелся ответить Рябинин.

— Так по-разному понимать можно! Поначалу вроде бы ясно было. Против Бога бунт... А ежели так, то больно долго что-то, и не понять, то ли бунт, то ли власть... Батюшка о том не сказывает! Говорит, против Бога не ропщите, дескать, все в руце Его! А может, антихрист уже и крылья расправил, и клюв почистил, а Богом уже меч занесен для Суда! Господи, хоть бы помереть успеть!

— Успеешь! — усмехнулся Рябинин. — Антихрист или нет, про то ничего не знаю, только не на короткое время времена наши! Дай Бог внукам разобраться, что к чему!

И сразу вспомнил внучонка своего, что пугался

одного его вида. И ничего ни в нем, ни в родителях внучонка, ни в единой черточке мира ихнего не намекало Ивану на то, что суждено внуку Ивана Рябинина понять самую главную тайну из всех тайн человеческих. Но опять же, кто знает пути? Они неисповедимы...

— Что говоришь-то? — прослушал он слова Светличной.

— Про Андрияна говорю, дружка твоего! Берег он дом твой. Ждал тебя. Смятенный он человек, помоги ему!

Рябинин промолчал. Наверное, потому, что не уверен был, нуждается ли Селиванов в помощи. А еще — сомневался в том, что хоть и обрел он веру в Истину несомненную, да тверже ли сам на ногах стоит, чем его „смятенный" друг. Словно и не пригнулся к старости пройдоха Селиванов, а напротив — росту в нем вроде прибавилось, по крайней мере, в глазах Рябинина.

— Сама-то как прожила? — спросил он Светличную.

Она хлопнула безресничными веками, шевельнула высохшими губами, повела острым плечом и виновато взглянула на Рябинина.

— Не знаю... Не заметила, как прожила! Какая жизнь у бабы одинокой? Да ведь живешь-то не в лесу, люди кругом, с людьми без дела не проживешь. Может, заглянете ко мне с Андрияном? Онто заходил ко мне. Тоже бобыль... Шибко убивался он, что женку твою не сберег! Я ведь ее тоже знала. Ранее тебя. И отца ее...

— Знаю, — ответил Рябинин. — Добрая ты женщина! Заходи и ты ко мне, рад буду!

Показалась деревня. Рябиновцы проталкивались к выходу. Рябинин со Светличной поднялись тоже. Он взял ее тяжелую сумку. Приноравливаясь к ее

старческому шаркающему шагу, проводил до дома, зайти однако отказался и заспешил через рябинник к себе.

Из недалекой густоты леса доносились до него звуки и запахи, волнующие и тревожные. Он понял, почему не спешил в тайгу, почему лишь косился с крыльца в ту сторону, даже не вглядывался как следует, будто одергивал себя. Понял! Не уверен он в себе, в ногах своих, в руках, столько лет ружья не державших, в глазах, — кто знает, какое зрение его нынче, не проверялся ведь. А что может быть страшнее неспособности к таежному делу!

И вот теперь только, хотя и остались страхи, нестерпимо потянуло на старые места, на полузабытые тропы, в заброшенные зимовья. Первые годы в неволе сколько ночей пробродил он тайгой, сколько мысленно шагал привычными таежными путями, припоминая каждый поворот, и дерево, и камень на повороте, и ручей, и камешки на его дне...

Так он и дошел до своего дома — глазами в тайгу, даже шея устала. „Завтра!" — решил от твердо. И собак кормил как положено — за день до серьезного таежного дела, и разговаривал с ними, обещал им волю вволю, а собаки понимали, волновались и ели плохо.

Селиванова ни разу не видели в Лучихе при таком шике — при костюме, в белой рубашке да еще в полуботинках. У знакомых (а незнакомых там не было), что здоровались с ним, округлялись или суживались глаза, в зависимости от природы каждого, и смотрели ему вслед, и меж собой переглядывались, если их оказывалось двое или более. Последние годы как виделся Селиванов людям? В старье, с тростью, кряхтящий, охающий. Понимали, что притворяется, но привыкли к притвор-

ству. И вдруг он шпарит, как молодой, по деревне, разодетый, как фраер, без всяких тростей, а на лице — будто дичь нагоняет!

Сам Селиванов видел, какое он производит впечатление, но только ухмылялся про себя довольно и забывал тут же, потому что голова его трещала от мыслей таких трудных, что даже в затылке заломило.

„Что ж это такое!? — думал он. — Неужели Ивану Рябинину еще не все кары небесные отпущены! Неужели мало еще! Пусть этого не будет!" — твердил он искренне, но так же искренне хотел знать правду.

Что мог он вспомнить о том парне, на поиски которого кинулся в Лучиху? Появился он в промхозе лет пять назад. В первую же неделю ни разу не пришел трезвым на работу. Так слышал Селиванов. Хотели уволить его, но сначала не было замены, а потом обнаружилось, что в той куче металлолома, которая именовалась промхозовским трактором, он разбирается толково, и что нетрезвость есть его нормальное рабочее состояние. Оказался парень в общем-то покладистым и уступчивым, по пьянке слишком не задирался, хотя и тогда уже зубы у него были наполовину выбиты. Что до синяков, всегда присутствующих на лице, то получал он их от трактора: была у него редкая способность непременно хоть раз да стукнуться обо что-нибудь лицом, а уж когда лез в тракторные потроха за капризом, то матюговые его проклятия какому-нибудь магнету были громче тракторной пальбы, и появлялся он на свет с большим прищуром на один глаз или с лиловым рогом на лбу. Не парень это был, а умора куриная! Лично Селиванов его даже как-то за живое существо не принимал, а как прикладность к трактору, тем более, что и

тракторист и трактор одинаково жили на горючем.

Баламут, тракторный балда, как он жил, где жил, откуда взялся, никто толком не знал да и никого это не интересовало. Никто не называл его по имени, говорили просто: „Где этот, с трактора?" Отвечали: „За трактором валяется!"

На лице его всегда была глупая улыбка и похоть до водки. Похоже было, что ничего его в жизни более не беспокоило кроме того, где еще выпить. И ни о чем он долго не мог говорить, чтоб не вспомнить, сколько „давеча" „зажрал" и где б еще малость... Работал он ровно столько, сколько нужно, чтоб всегда иметь на выпивку. Не работая, он только спал. А если не было работы в промхозе и не было калыма, то ходил и навязывался, то есть гонял трактор по деревням, предлагая привезти, увезти, вспахать, раскорчевать или просто покататься.

Всегда в рванье, всегда в мазуте, он был ходячим анекдотом. Селиванов, собственно, только раз имел с ним дело, и кончилось тем, что этот балда отстрелил себе палец из его мелкашки. Фамилия тракториста тоже была анекдотом. Он прозывался Оболенским. Зная, какое впечатление производит на людей, особенно чужих — дачников и туристов, — представлялся всем и без надобности. Теперь его фамилия оборачивалась для Ивана Рябинина болью.

Селиванов успел. Трактор стоял на лужайке напротив конторы. Оболенский валялся на траве рядом с трактором. Увидев Селиванова, ошалело приподнялся.

— Селиваныч! Никак жениться собрался?

— Куда наряд? — быстро спросил Селиванов.

— Никуда пока. А чего?

Глаза его забегали — калымом пахло. Селиванов опустился перед ним на корточки. От Оболенского перло профессиональным перегаром алкаша. Сели-

ванов поморщился.

— Дело есть!

— Полбанки! — тут же откликнулся тракторист.

— Будет тебе столько полбанок, сколько захочешь!

— Не! Сперва полбанки, а после — разговор!

— А если сперва по шее? — дипломатично спросил Селиванов.

— Но-но! — чуть отодвинулся тот. — У меня шея не казенная!

— Тебя как зовут?

— Меня-то? А чо? Ванька!

У Селиванова захватило дух. Он зажмурил глаза и так, с закрытыми глазами, спросил еще:

— А по батюшке?

— Гы! — удивленно отозвался Оболенский. — Иваныч!

— Родители-то где живут?

— Да иди ты! Чего пристал? Детдомовский я... Говори дело и гони полбанку!

— Со мной пойдешь, — сказал Селиванов, подымаясь и разминая затекшие ноги.

— Куда идти-то?

— К тебе сперва. Переоденешься, умоешься. Дело будет чистое.

Оболенский онемел от изумления, потом замычал:

— Не-е-е! Украсть, да? Я это дело в гробу видал!

Селиванов презрительно осмотрел его с головы до ног.

— Да нешто ты украсть можешь! Чтоб красть, мозги надо иметь!

— У тебя больно много мозгов! — обиделся тот. — Кончай темнить, говори дело!

— Я и говорю. Дело чистое. Помочь человеку надо. А в таком виде тебя разве в дом пустить можно?!

— А чо трактор? — никак не мог взять в толк Оболенский.

В барак, где он жил, Селиванов не зашел, присел на завалинку и остался ждать, пока оболтус приведет себя в порядок, если это возможно.

Думы, одна печальней другой, как медленные волны, наплывали и откатывались, и наплывали снова. Может быть, не нужно ничего этого делать? Что путного выйдет? Ивану — лишняя боль... Нет, это только подумать, как судьба обошлась с Иваном! И за что бы? А что ж Иванов Бог? где ж Его мудрость к человеку! Если бы так случилось с ним, Селивановым, куда ни шло... А с Иваном — нешто это справедливо? А может, не надо...

Селиванов поднялся с завалинки. Еще мгновение, и он бы отказался от затеи, но появился Оболенский. Был он в чистых мятых брюках, в такой же рубашке. Но вид его, хоть он помылся и даже причесался, едва ли изменился к лучшему. Чувствовал он себя не в своей тарелке, а руки его вообще не отмылись, и он не знал, куда их девать. Только непреодолимое желание получить „полбанки" принудила его совершить над собой такое насилие.

— В Рябиновку поедем! — сказал Селиванов.

— А трактор?

Без трактора он не мыслил себя.

— Пойдем к одному человеку, — продолжал Селиванов. — Сколько раз матюгнешься там, столько раз потом по шее получишь! Понял!

Оболенский скис.

— Если не матюгнешься ни разу и никакой хреновины пороть не будешь, пою тебя неделю.

Тот оживился, хотя не без сомнения и тревоги. Они пешком дошли до развилки на Рябиновку, километра полтора. Шли молча. Молчали и в попутке. Молчали в магазине сельпо, где Селиванов

взял бутылку, чем разочаровал Оболенского до меланхолии. Через всю деревню прошли к рябининскому дому.

— Дело есть, — буркнул Селиванов на вопросительный взгляд Ивана. — Приготовь закусь.

Оболенскому налил полный стакан, себе и Ивану чуть-чуть. Выпили и закусили молча. Селиванов все никак не решался начать разговор, косился на Ивана и ежился.

— Значит, как, говоришь, тебя зовут по имени-отчеству?

— Да ну тебя с отчеством! — весело огрызнулся парень.

— Говори, коли спрашивают! Постарше тебя люди сидят!

— Иван Иваныч! Гы!

Представлять себя в имени-отчестве ему было искренне смешно.

— А фамилия твоя, стало быть, это, фу ты, черт! Заклинило в мозгу!

— Ну Оболенский!

Мельком взглянув на Ивана, Селиванов увидел, как побелели его губы и помертвели глаза.

— Мамку с папкой не помнишь, значит?

— Я ж тебе сказал — детдомовский!

— А место рождения как в паспорте указано?

— Написано — в Иркутске, только я там и не бывал. Детдом в Заларях был, а курсы в Черемхово кончал, после сюда послали...

Он кидал взоры на недопитую бутылку, но Селиванов делал вид, что не замечает.

— Пьешь давно?

— А чо! Я на свои пью, не на ворованные! Кому плохо?!

— Когда пить начал, спрашиваю?

Голос Селиванова был угрюмым, Оболенский

вертелся под его взглядом, а в сторону Рябинина даже не смотрел.

— В детдоме пили... — ответил он робко.

— Чего, там все, что ли, пили?

— Ну, не все... — и не вытерпел. — Ну чего с допросом пристал! Говори дело!

— Пойдем! — Селиванов встал. Они вышли во двор, Селиванов осмотрелся вокруг.

— Вишь поленницу? Нехорошо стоит. Надо к тому забору перетаскать, чтоб ветер не порушил. Литр за мной, как сделаешь!

Оболенский даже рот раскрыл от удивления.

— Ты чо, Селиваныч, того? Зачем мыться заставил?

— Какое твое дело! — закричал Селиванов. — Хошь литр иметь, — делай, что говорят!

И вернулся в избу. Рябинин сидел, обхватив голову руками. Когда Селиванов сел рядом, поднял голову, спросил тихо:

— Неужто правда, Андриан?

— Вот какая штука, Ваня! Пригляделся я к нему сегодня... Похож он на мать. Испохаблена морда свинской жизнью, а все равно похож! Только пошто ж она ему свою фамилию прописала? Хотя опять же: твою-то еще хуже — враг народа... — Покачал головой. — Вот какая она, жизнь наша! Да чтоб я перед ей башку склонял?! Надо думать, Ваня, Бог твой, ежели Он правильный, когда-нибудь пошлет на ее потоп смертельный, потому что не жизнь это, а б... Когда война была, тут кое-кто шипел: дескать, вот кара идет... Я и тогда понимал: не человеческого ума дело — судить эту жизнь, потому что сотворена она не руками человеческими!

Он сердито взглянул на икону над Ивановой головой.

— Ну что делать, Ваня? Ведь можно его еще вер-

нуть к человеческому облику! Ведь того не может быть, чтобы порода напрочь протухла в человеке?

— Ошибка, может? — без всякой надежды сказал Иван и сам же отмахнулся от этой мысли. — Неужто сына нашел? А если нашел, так ведь это ж сын! Мой и ее... Открыться надо!

— Не спеши. Не сразу это делать надо. Видишь, алкаш он... Попробовать бы оторвать от него бутылку сперва.

— Постой! — встрепенулся Рябинин. — А годов ему сколько? Когда родился? Ему нынче сколько должно, а? Двадцать пять? Так?

Селиванов громыхнул табуреткой и выскочил во двор. Вновь перепачканный смолой и берестой, Оболенский таскал поленья от забора к забору и как попало складывал их.

— Слышь ты! Ты какого года рождения будешь?

— Чего?

— Сколько лет, говорю?

— Двадцать пять! А чо?

— Ничо! Поленницу кладешь, как дите молокососное!

Селиванов повернулся и хлопнул дверью. Снова сел рядом с Иваном.

— Значит, он?

— Он, Ваня!

— Что он там делает?

— Поленницу таскает с места на место.

Иван положил ладони на стол и выпрямился.

— Какой ни есть — сын мне! Стало быть, объявиться надо!

— Ну, не спеши, говорю! Давай сбегай в тайгу пока, а я с ним повожусь, присмотрюсь, авось отскребу что путное в душе! Не может порода пропасть вчистую!

— Так разве... — заколебался Иван.

— А я что говорю, — подхватил Селиванов. — Все равно парня подготовить надо!

— Пойдем посмотрю на его еще!

— Посмотри, — ответил Селиванов, поднимаясь.

Поленница, которую складывал Оболенский, приобретала такой отвратный вид, что Селиванов не удержался, чтобы не сплюнуть.

— Во бестолочь!

И вдруг испуганно взглянул на Ивана. Ведь отец! Придержать язык надо. Но никак не привязывался этот баламут к Ивановой бороде. А к жене его — лебедушке, какой помнил ее Селиванов, а уж к деду-офицеру (и подумать только!)? Срамота одна! А те, в городе, разве признают его за родственника? Ничего себе братец для сестрички выискался! Хоть бы поленница не рухнула, пока все перетащит! И понял — рухнет. Еще две-три охапки — и непременно рухнет!

— Хорош! Кончай! — крикнул, не скрывая зла. — Отработал! Кончай, говорю! Оставь эти на месте!

Оболенский пожал плечами. Глядел недоуменно на стариков. Иван спустился с крыльца, подошел к нему вплотную, печальный, суровый.

— Спасибо!

— А я не за спасибо! За спасибо медведь вкалывает!

Иван смотрел на него все так же печально, и парень сник малость.

— Да нет, я могу и так... подумаешь, полешки таскать...

Не очень искренне это прозвучало, но Селиванов заметил, как оттаял взгляд Ивана. Даже в фигуре легкость появилась... А вообще-то с какой стати парню чужому дрова таскать?..

— Спасибо! — еще раз сказал Иван и пошел в избу. Проходя мимо Селиванова, взглянул как-то ви-

новато.

Селиванов вынул десятку из кармана, подал Оболенскому.

— Сколько даешь-то? — засопел тот.

— Червонец.

— А за что червонец? За три полена?

— А ты сколько хочешь?

Парень плюнул, выругался.

— Иди ты... Не надо мне ничего. Темнишь! Мыться заставил... Теперь червонец за три полена даешь! Чо тебе надо от меня?!

Селиванов немного растерялся.

— Видишь, хороший человек один живет! Четвертак ни за что отмотал! Дрова понадобиться могут, или еще что... Будешь катить мимо на тракторе, загляни...

— Так бы и говорил сразу, — успокоился Оболенский, нетерпеливо захрустев десяткой. — Это можно! Я в Рябиновку каждый месяц хоть раз, да катаюсь! Будет дед в ажуре! А как это — четвертак ни за что? — усомнился он.

— Гуляй, — махнул Селиванов. — Будет сухо в глотке, приходи ко мне, размочу!

— Иди ты! — расплылся в удовольствии Оболенский. — Но ты даешь! А все говорят, что ты жмот!

— Говорят, — зря не скажут! Гуляй!

И он выпроводил его за колодец.

Рябинин пошел в тайгу один. И как ни отговаривал его Селиванов, пошел на свой бывший участок, хотя знал — участка по сути нет, по самой его сердцевине ведут высоковольтную, а это значит: зверье вон, и тайге язва, порежут не только угодья и тропы, но и ручьи и роднички! Ветер-сквозняк да вонь машинная...

Шел как во сне, в том постылом лагерном сне,

когда ночь не отдыхом бывала, а пыткой. И сейчас казалось, что спит, и непременно проснется в тот миг, когда останется десять шагов до какого-нибудь зимовья, или когда ружье вскинет на добычу, или просто на душе радостно станет от встречи со знакомым местом. И до того сильно было это ощущение сна, что иногда останавливался Рябинин поперек тропы и говорил что-нибудь громко, чтобы голос свой услышать, но все равно слышал его будто со стороны, как раз, как во сне и бывает, качал головой удивленно и шел дальше. Останавливался как вкопанный, если вдруг узнавал камень или — еще того чуднее — пень (ведь сколько лет прошло!); и наоборот, чуть не бегом бежал, когда догадывался, что впереди поворот тропы направо или налево, а там спуск малость или подъем, и когда все так и было, говорил себе: „Ага! Ишь ты! Помню!" Хмурился, если попадалась незнакомая развилка. Это значит, тропа, что поменьше — молодая, без него уже вытопталась, и неприятно это было, и ревность просыпалась к чужому, кто ходил здесь без него, как будто на то прав не имел.

Не нашел одного родничка, другого. Пропали... Это бывает в тайге. Зато появились другие, но он из них не пил. Ко всем голосам тайги прислушивался особенно, они ведь ни в чем не изменились, и он узнавал их все, и каждую тварь голосящую называл вслух ее именем.

Было самое начало осени, первые дни ее, и матерой тайги она еще не коснулась; лишь чуть вялой стала трава на редких лужайках, и не было зноя, и небо чуть утратило яркость; а во всем живом и растущем чувствовалась не то чтобы сонливость, а скорее покой и тихая созерцательность, когда после долгих и важных хлопот выпадает, наконсц, желанное время, чтобы осмотреться благодушно и добро-

желательно вокруг и сказать себе: не так уж все плохо вокруг, и сам не так плох, а впереди, кто знает, еще, возможно, немало доброго и радостного.

Бывший участок Рябинина не был кедровым. На сопках преобладала сосна, по вершинам — листвяк, червяком изъеденный, в распадках — мешанина из хвоя и листов, и лишь вдоль ручьев из сплошного ковра бадана поднимались кедры-дубняки в два, а то и в три обхвата, часто с обломанными верхушками. Ветви их щедро были обсыпаны шишками. Никакой колот не стряхнул бы их, даже дрожь от удара не дошла бы до ветвей. Потому кедры эти человеком не трогались, а шишки висели до первых морозов и до первого сильного ветра (если не прилетала птица-кедровка, конечно). По ветру шишки падали в снег и сохранялись до весны подарком для белок и бурундуков, а то и для охотника, — кто откажется пощелкать орешки весной!

В дубняках у ручьев всегда в полдень отдыхал глухарь. Не вспомнив о том, а лишь по неутраченной привычке Рябинин, подойдя к одному из таких мест, снял с плеча селивановский „Зауэр". Но не взорвалась тишина свистом и шумом глухариных крыльев. Лишь бурундук пискнул где-то в камнях у ручья. Участок был пуст.

Рябинин облазил песчаную полоску вдоль ручья — ни одного следа не обнаружил. А за этим ручьем и начинался его бывший участок. С первых шагов по нему понял он, что зря не послушал Селиванова и пошел сюда. Еще до того, как попалась ему на тропе обертка от сигарет, а затем и кострище с безобразием вокруг, мысли Рябинина уже покинули тайгу и вернулись ко всему, от чего он надеялся укрыться хоть на несколько дней в таежных сумерках. Дочь, внук и... сын. Почему вышло такое? Что делать? Как жить дальше? В такой по-

следовательности, потом в обратной, и наконец вразнобой прокрутились в голове думы. Отчего не может он принять решений? Почему смятение? Может, вернуться, поехать в Слюдянку в церковь, потом пост наложить строгий? И вот разумом уже знал, что именно так и надо поступить, но когда это понял, в тот момент и пошел дальше — угрюмый и поникший. И началось все к одному: человеческое беспутство в тайге; усталость в ногах; машинный шум за гривой; боль в спине; разграбленное зимовье, а вокруг пни — на полста шагов. И схватила жажда за горло, да так, что язык к небу прилип.

Ручеек, что когда-то любовно обложил он камнем, не то иссяк, не то вытоптан: еле-еле пробивается струйка тоненькая из-под кочки, и вода болотным застоем отдает. А вокруг — банки консервные, бумага, тряпки и вся человеческая нечистота. Но и этого мало. Дали какому-то выродку рода человеческого топор в руки, шел и сек одно за другим деревья из ненависти к красоте и свободе: на каждом, что устояло, засека хулиганская. Смолевыми слезами тихо плакала тайга, беззащитная, обезображенная.

Рябинин стал на пороге своего зимовья, окинул взглядом развороченную печь, переломанные нары, выбитые окна и — отступил. Прислушался к машинному шуму за гривой. В той стороне тоже была у него зимовье-землянка, где когда-то Селиванов, желая ему насолить, разделал изюбря, да и попался; оттуда гнался за ним Рябинин и получил картечину в ляжку. Эта нога теперь более всего ныла. Но не в картечине было дело.

Еще раз спустился он к бывшему роднику, черпанул ладошкой, чтоб губы смочить, и пошел в сторону машин — своими глазами захотел посмотреть

людскую волю, словно испытать себя истязанием надумал. Вышел на вершину гривы и уже с нее увидел просеку, стрелой уходящую в горизонт, отвратительную в своей прямоте, будто острой косой — да поперек спины... Но возмущения в душе не было, а лишь печаль... Прямо под ним два бульдозера елозили в тупике просеки, надсадно взвывали, словно одичавшие, голодные псы. Людей было не видать, и оттого жуть исходила от железных собак.

Рябинин пошел на них. И чем громче становился рев, тем сильней стискивал он зубы. До ломоты в скулах.

Появился он в самом тупике просеки. И люди онемели, увидев его. Это были мальчишки, сопляки примашинные, что рождаются в мазутных запахах, вырастают в лязге дизелей и посвящаются машинам на пользу человечества. Потому что оно без машин и шагу ступить уже не может.

Когда ребята подошли к Рябинину удивленно-радостные, они показались ему сыновьями. И вот уж воистину чудо: он, не почувствовавший в Оболенском свою плоть и кровь (или так ему показалось?), вдруг ощутил родственность к этим чужим мазурикам. Ему захотелось сделать для них что-нибудь хорошее, сказать что-то доброе, чего не сделал и не сказал он сыну своему. Но он не знал, что надо сделать и сказать, и потому стоял и улыбался.

— Вот это да! — воскликнул один, коренастый и широкомордый, щедро показав крепкие, редкие зубы. — Ты откуда, дед?

— Из Рябиновки. А вы?

— А мы с Тунки. Высокий вольт гоним. Тридцатый километр уже! — Парень оглянулся на своих и произнес восхищенно: — Вот это дед!

Другой, видимо, старший из них, протянул Рябинину руку.

— Дед, ты случаем не из сказки?

— Точно, — сказал Рябинин, пожимая мазутную руку. Хотелось добавить: мол, не дай вам Бог в эту сказку самим попасть, да ни к чему это было.

— Когда-то мой участок был, — сказал он, окинув взглядом соседние гривы. — Промышлял тут...

— Теперь твоему промыслу хана! — сказал один из парней с полным сочувствием.

— А ты не от избушки идешь, что там, за горой?

— Оттуда.

— Во! Мы сегодня туда переберемся, а то прежний балаган больно позади остался! Слушай, дед, приготовь нам жратву, ну, в смысле тушенку свари, а мы придем и вместе пир закатим, горючее имеется, спиртяга, значит, а? Сказку нам расскажешь! Мы сегодня рано кончим, план перевыполнили, а это дело, сам знаешь, отметить надо! — И, не получив еще ответа, крикнул: — Генка, тащи тушенку!

Рябинин не только согласился, но обрадовался даже. И когда в его рюкзак натолкали банок, а на лямки навешали котелков, он, звякающий и гремящий, бодро направился назад, к разгромленному зимовью, забыв про усталость и ломоту в спине, хотя груз за спиной оказался изрядным. Рябинин теперь знал, чего он хочет от этих мазутных парней: расспросить о сыне. И неважно, что они его не знают, он спросит их о том, о чем с ы н а спросить хотел. С ними ему будет свободно. Ведь они живут — значит, есть у них что-то, что к жизни их побуждает. У них есть ум, значит, они думают, у них есть родители, которые их любят.

Последняя мысль вдруг обернулась ознобом. Не выходит ли так, что ему надо учиться любить по-

родительски? Многих людей он любил, но не подходит та любовь ни к сыну, ни к дочери с внучком, ни даже к Селиванову. И Бога он любит. Правда, всегда любил Его умом, но случалось, что любовь эта таким чувством оборачивалась, что одной только памяти об этом хватало на месяцы, чтобы трепетать от счастья пережитого...

А сын? Алкоголик, почти идиот... Должен он его любить? Но как? Слово „сын" крутится по кругу в голове, но никак с круга того в сердце не срывается.

А дочь? Это слово давно в сердце есть и никогда не покидало его, — оттого боль, и обида, и еще какие-то чувства, к которым и присматриваться не хочется... Тянутся от него и к нему нити, тоненькие, слабые, и путаются от первого прикосновения и рвутся, и приходится их распутывать и связывать наново... И во всей этой работе — великое напряжение и смятенность. Господи, как тяжело! Прости, Господи, т а м было легче!

Знает Рябинин, что мысль эта греховна и сутью своей неверна. Не может такого быть, чтоб человеку в своем уме — в унижении и неволе легче было... Но какая смятенность! Ведь не было ее т а м !

Т а м ведь как думалось? Вот, кончится срок, а с ним испытание кончится. И радости воли — наградой будут. А мудрость понадобится на то, чтобы радость спокойно принять. Да разве так получается? Вроде и нет ропота на Бога, но смятение... А что есть смятение как не ропот?!

Первым дело насобирал дров, перекладину соорудил, котелки с водой повесил над еще не зажженным костром, чтобы потом только спичкой чиркнуть. И занялся зимовьем. Сколько всякого хлама выволок изнутри — тошнота сплошная! Нужно было чинить нары, топорик же взял с собой

маленький, с резиновой рукоятью, много ли им нарубишь! Но нарубил; перестелил и укрепил нары. Берестой заделал одно окно, чтоб сквозняка не было. Дверь навесить не удалось, петли проржавели. Вырубил пазы в проеме, чтобы можно было дверь вставить изнутри; жилье без двери — не жилье! Притом думалось даже, что другим летом поставит новое зимовье, просторное и светлое. Прогонят просеку, протянут провода и — уйдут. Зверье вернется. И хоть останется в тайге шрам, так и со шрамом живут!

А зимовье он поставит такое просторное, что в нем вся его семья летом жить сможет. Разве вырастет человек нормальным, ежели таежным воздухом вскормлен не будет! Он и лечит, этот воздух, и молодит, и все в человеке к спокойствию и серьезности приводит.

Рябинин стал припоминать самые красивые места на участке, чтоб и родник, и сухость, и сосняк добрый. Там и будет зимовье ставить. Продумывал, как короче конную тропу туда проложить, чтобы кирпича завести для печки и прочие необходимые материалы. А лес на избу нужно валить не иначе, как в километре от места, чтобы зимовье будто от корней ближних сосен вырастало, чтоб ни один пень не досаждал глазу; хорошо бы рядышком две-три лужайки, где сенца подкосить для лошадей и для зверья таежного, да и запах сенный близ зимовья — всегда радость человеку. От селивановской суки щенков взять...

Вот опять же Селиванов! Рябинин все откладывал думу о нем, потому что много и крепко нужно было думать. А если много не думать, то не для него ли сберег Господь Селиванова — единственную душу родную! За такую мысль было стыдно, но разве могло такое случиться без воли Божьей,

чтоб двадцать пять лет человек верность хранил другому человеку, кого уже и в живых не считал! Нечем рассчитаться ему с Селивановым... И тяжко стало за сухость и строгость свою ненужную. Но ведь и не виноват он, что больше удивлялся Селиванову, чем радовался. Все понять его хотел, а надо было не понимать, принять сердцем... Сам-то, поменяйся они с Селивановым судьбой, как жил бы?..

Колючая была мысль. Знал: взяли б тогда вместо него Селиванова, ведь, чего доброго, и отрекся бы от него? Было, за что брать его. Сам осуждал, да и сейчас не одобряет, но уже и не судит. И за что ж так прилепился к нему Селиванов? Не за что!

Рябинин закрыл глаза, стал прямо и, как раньше, когда нельзя было открыто сделать крестное знамение и молитву вслух произнести, сказал в уме те слова, какие означали благодарность Богу за все, что на благо свершается.

Когда открыл глаза, голова закружилась и на миг в сердце непорядок возник... „Устал!" — подумал он, прислушиваясь к рокоту машин на просеке. Как они стихнут, так и костер запалить надо. Тушенку сготовить долго ли... Подойдут — и готово будет.

А того момента, когда костер палить, он ждал с волнением, потому что знал, что́ принесет ему запах костра. За те годы приходилось не раз костер палить, похож он был на таежный, волновал и мучил, но лишь по похожести. У таежного костра аромат особый, и он никогда его не забывал, как и многие другие запахи жизни.

На ближний пень, каркнув, села кедровка, стукнула потресканный и пожелтевший срез пня длинным клювом, трепыхнулась крыльями. „Дуреха! — сказал Рябинин, — заблудилась, что ли! Здесь

тебе делать нечего! Лети в распадок, там кедрач-дубняк!" И махнул рукой. Кедровка взлетела и, сделав полукруг над поляной, исчезла в сосняке.

Не приспособлен человеческий язык для таежных голосов. Можно, конечно, натренироваться, учинив насилие над глоткой, но далеко не все звуки тайги передразнишь. С молодости это занимало Рябинина. Ведь у птицы — голос и у человека — голос, услышал — повтори, и заговоришь с птицей! Но нет, предел дан. И, наверно, для того, чтобы птица, да и всякая голосистая тварь, свободу свою охранять могла. Человек потеснить тварь может, закабалить, даже убить, — но не душой овладеть. Значит, ему это не положено!

Рябинин пытался вслушаться в голоса тайги, но сейчас все, что еще оставались на этом участке, подавлялись отдаленным шумом машин. Ему даже показалось, что рев бульдозера стал сильнее...

Он придирчиво осмотрел зимовье, вошел внутрь, поискал, чего б еще починить, но все требовало ремонта серьезного: печь, потолок, пол. Он вышел и замер в недоумении. Машины ревели громче, и что было странно, — ближе, теперь уже без всякого сомнения. Вой бульдозеров словно накатывался в его сторону. Что-то страшное, непонятное наплывало на сердце так, что оно должно было работать сильнее, будто защищаясь от наката грозных и опасных сил.

Рев, казалось, уже шел с самого верха гривы. Рябинин ощущал трепетание земли и деревьев. Рев подкатывался к горлу диким взвыванием моторов, и казалось: то ли чудища ревут, злобствуя, то ли земля кричит в отчаянии... Он все еще не мог сообразить, что бы это значило? Истуканом стоял у двери зимовья, и борода его вздрагивала в ответ сердцу, потерявшему ритм. И вдруг все впе-

чатления дня, как в фокусе, сошлись — его озарило. Он ахнул и схватился за голову. Потом метнулся, нашел топорик и побежал изо всех сил. Он бежал туда, где в это мгновение сам антихрист, веками таившийся и подличавший в невидимости, выпрыгнул из мрака и спешит с ненавистью разрушить на земле все живое в коротком времени Божьего попустительства. Он бежал вверх по гриве, не ощущая, что сердце не поспевает за ногами, не замечая веток, хлеставших по лицу, камней и моховых ловушек. Бежал поперек завалов, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Когда же взлетел на гриву, сердце взлетело еще выше и потянуло за собой ввысь. Чтоб не улететь, он обхватил руками тонкую сосенку, припал к ней и с ужасом глядел на то, что свершалось внизу, у него под ногами.

Маленькие, дерганые бесы оседлали бесов могучих и яростных и рвались к вершине, сокрушая все на пути, оставляя за собой два нетленных следа смерти!

Рябинин увидел:

оборванные, грязные люди рвали на куски издыхающую лошадь, судорожно жевали, толкались и били друг друга кровавыми кусками мяса;

падающие деревянные опоры и глыбы земли рушились на людей, давили их, ломали ноги и руки, сплющивали головы;

в полутемном бараке в клубок сплетаются десятки тел, крики, кровь, мелькают ножи, выстрелы из окон, собаки...

Картины мелькнули перед глазами, ослепили, обожгли и вырвали с корнем сердце...

А было: парни на бульдозерах прорывались к зимовью. Они хотели торжественно появиться перед таинственным дедом, как древние муромцы на могучих конях. Круша все на своем пути, они вошли в такой азарт, что походили на малых детей, зарвавшихся в игре. Но зла в их душах не было. И когда перед ними вдруг появился старик с обезумевшими глазами, весь в ссадинах и крови, они застыли.

Взмахнув топором, Рябинин кинулся на ближайший бульдозер. — Ты чо, дед?! Ты чо?! — заорал водитель, торопливо дергая рукояти.

— Бесы!! — крикнул Рябинин так, что услышали его на втором бульдозере.

— Псих! — крикнул кто-то, и всех как ветром смело с бульдозеров. Топорик с резиновой ручкой отскакивал от металла, пока не попал на стекло. Вместе с осколками рухнул на землю Иван Рябинин. Рука с топором скребанула по земле и замерла.

6

Селиванов стоял на краю дороги, махал руками и бранился. Бортовая машина притормозила, но он отмахнулся: ему нужна была легковая. А частник проскакивал мимо, не глядя на Селиванова. И когда он, отчаявшись, выскочил на середину дороги перед черной „Волгой", та остановилась. Из нее, не торопясь, вылез здоровенный детина. Потянувшись и поиграв бицепсами, он шагнул к растерявшемуся Селиванову и спросил беззлобно:

— Чего хулиганишь, Божий цветочек?

У Селиванова кровь отлила от лица, но он сдержался.

— В Слюдянку... обратно... в Лучиху... обратно... полста...

— Иди ты! — усомнился парень. — Это по старым деньгам, что ли?

Селиванов вынул из кармана новенькую пятидесятку. Тот почесал в затылке и посмотрел на часы.

— А что — рискнем?..

Селиванов шмыгнул на заднее сидение, забился в уголок, чтобы шоферу не было видно его в зеркальце.

— Куда в Слюдянке?

— В церкву.

— Иди ты! Помирать собрался или в грехах каяться?

Селиванов не вытерпел.

— Твоим языком бы да хлев чистить!

Парень загоготал и врубил на полную мощность приемник. Селиванов поерзал, подтянулся к уху шофера и прокричал зло:

— Ежели так всю дорогу, то вези меня прямо в морг!

Тот снова загоготал, убавил радио, а к Селиванову больше не приставал.

Священник оказался молодым, высоким, красивым и голоса приятного, что несколько смутило Селиванова.

— Извиняюсь, значит, помер человек, друг мой... — он поперхнулся, — верил он в Бога вашего... Надо, чтоб все по закону...

— Где жил покойный? — спросил священник.

— Жил? — И вдруг в оба глаза накатило по слезе. Селиванов смахнул их. — Жил далече, где вам не дай Бог... А лежит он теперь на столе в доме своем, в Рябиновке, значит... — И предупредил жест священника. — Машина у меня... заплачу, само собой,

как положено...

Они помчались в Рябиновку. Шофер косился в зеркальце на священника, приемник выключил совсем и лишь подсвистывал иногда.

— Вы, как я понял, в Бога не веруете? — деликатно спросил священник.

— Не могу я в Него верить, потому как ни мудрости, ни доброты в Ем не нахожу! — ответил Селиванов угрюмо.

Священник покосился на него, но спорить не стал. Селиванов снова заговорил:

— Один человек всю жизнь грехом живет и даже занозу в палец не получит, а другой... собаку за всю жизнь ногой не пнул, а на него — все беды, какие только ваш Бог придумать может...

Священник молчал.

— Дескать, на том свете зато рай! А кто это доказать может? А я хочу знать, за что мой дружок Ванька Рябинин на этом свете страдал? Молчишь, Божий слуга?!

— Нет доказательств, — ответил тот спокойно. — А ответ вам только вера дать может.

— А если мне, чтоб поверить, ответ сперва нужен? В чего мне верить, если я главного ответа не слышу!

Вдруг он заплакал и стукнул кулаком по колену.

— Не хочу говорить ни о чем! Треп это все!

Около дома священника встретили старухи. И откуда их столько набралось, — будто со всего света съехались! Руководила всеми с запухшими от слез глазами Светличная.

— В Лучиху! — скомандовал Селиванов шоферу.

— В Лучиху так в Лучиху!

И рванул с места.

— И сколько этим Богом будут людям мозги

зас....ть! На кой хрен этих попов держут до сих пор!

— Мяса на тебе много, потому ума мало! — ответил Селиванов.

— Слышь, дед, я на твою полсотни плевать хотел! Выкину тебя в кювет и поползешь на своих!

— Ну и выкинь! Выкинь!! — заорал Селиванов, приподнимаясь на сидении и швыряя на колени шофера ассигнацию. — Остановь, я сам выйду! Только если у тебя в мозгах понос, так вонь свою держи в закрытости! Остановь, говорю!

— Ты чего деньгами раскидался! — обозлился шофер. — Богатый шибко! И выкину вместе с деньгами твоими!

Селиванов грудью влип в спинку переднего сидения, — так резко сработали тормоза. Выпрыгнув первым, он подскочил к окошку шофера и крикнул:

— Понос!

Шофер догнал его в полста шагах от машины, схватил за плечо и влепил ему в ладонь ассигнацию.

— Ну, старик, счастье твое, что ты старик! Забирай свои деньги и мотай отсюда!

— А я не помотаю! А я вот тут стоять желаю!! — орал Селиванов.

Он хотел швырнуть деньги в лицо шоферу, но тот перехватил его руку. Селиванов охнул и разорвал ассигнацию пополам, потом вчетверо и, воспользовавшись шоком парня, швырнул в него обрывки. Шофер поднял с земли клочки, рассмотрел и сказал глухо:

— Ну чего распсиховался! Деньги рвать... Поехали в твою Лучиху.. Сам же говорил, что Бог того...

Селиванов затих.

— Худо мне, паря! Страсть как худо! Жить не охота!

— Ну чего, понять можно... друг помер...

Он подошел к Селиванову, положил руку на плечо.

— Поехали, а то начальник мой спохватится...

Селиванов выпотрошенным кульком поплелся к машине, вполз на сидение, откинулся и закрыл глаза.

За конторой промхоза в прицепной кузовок трактора грузились двухсотлитровые бочки. Оболенский вертелся возле хмурый и чумазый.

— Со мной поедешь! — крикнул Селиванов еще на подходе.

— Не! — замотал головой Оболенский. — На базу. В широкую падь иду, бочки вон...

— С... я хотел на твои бочки! Со мной поедешь, говорю! Машина стоит!

— Ух ты! — восторженно откликнулся тот, заметив „Волгу". — Не могу, Селиваныч! Начальник и так орал уже...

— А я на начальника, знаешь, что положил! За шиворот потащу!

И он потащил.

— Э-э! Ты куда его! — заорал вывернувшийся из-за кузова мужик, начальник участка Широкой пади. — Ты что, Андриан Никанорыч, сдурел, что ли! У меня в тайге тонна черники киснет! С кровью трактор вырвал у начальника!

— Забирай трактор, а мне этот нужен! — крикнул Селиванов, таща за собой упирающегося Оболенского. Мужик кинулся в контору. Когда Селиванов с Оболенским уже подошли к машине, с крыльца конторы сорвались в их сторону двое начальников — Широкой и промхоза.

— А ну стой! — крикнул начпромхоза. — Ты чего безобразничаешь, Селиванов! Чего командуешь!

А ты — марш на трактор!

Селиванов схватил Оболенского за штаны и оттащил назад к машине.

— Не ори! В милицию его везу! Убийство он совершил! Понятно?

— Чего?! — завопил Оболенский, выпучив глаза.

— Лезь в машину!

Он нагнул голову Оболенского и коленкой поддал под зад. Начальники растерянно переглянулись. Селиванов прыгнул в машину, хлопнул дверью.

Машина рванулась с места.

У крыльца рябининского дома стояло такси, и Селиванов догадался, что приехала Наталья.

— Андриан Никанорыч! Ну как же это так! Почему?!

— Я виноват, — ответил он тихо, уже который раз за сегодня смахивал слезу. — Не должон был его одного в тайгу отпускать! С непривычки сердцем надорвался! Сказывают, упал и все! Легкая смерть, и тому порадуйся! Хоть смерть легкую заслужил...

— Мы даже не поговорили! Господи! И встретили его нехорошо!

— Не плачь! Кто знает, может, и лучше так для него! Не плачь!

Он пальцем вытер ей глаза, а она вся тряслась и захлебывалась от слез. Легко отстранив Наталью, Селиванов вернулся к порогу, где стоял поникший тракторист. Он ввел его в комнату, где посередине на столе лежал в гробу Иван Рябинин. У изголовья стоял священник. Грустно и задумчиво смотрел на умершего.

Растолкав старух, Селиванов сказал громко:

— Ну-ка, подите все на двор, подышите воздухом, родные прощаться будут!

Старухи неохотно попятились к двери, крестясь

и перешептываясь, — Селиванов нарушал обычай.

— Видишь, кто помер? — сурово обратился он к парню.

— Ага! — кивнул Оболенский. — Это тот дед, который...

— Отец твой!

— Какой отец! — вдруг осипшим голосом почти прошептал тракторист.

— Твой, говорю, родной, которого власть упрятала в чертово логово, когда ты еще родиться не успел! И мамка твоя, родив тебя, сгинула в том же логове ни за что, ни про что. И ты вырос мазуриком чумазым, потому что не было у тебя ни матери, ни отца, а одна только власть народная! Хотя и при том мог бы человеком вырасти!

Священник с тревогой слушал Селиванова. Оболенский смотрел на покойника широко раскрытыми глазами. Сзади послышались шаги и всхлипывания. Подошла Наталья, перехватила руками горло. Черный платок размотался у нее на шее и сполз на плечи.

— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, а он, значит, брат твой родной!

— Что? — простонала она.

— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, да уж лучше б не делала того.

Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в ужасе.

— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Оболенский.

— Хуже правды... — ответил тот печально и, обойдя гроб, стал у изголовья, рядом со священником.

— Ваня, Ваня... — покачал он головой. — Нынче понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя!

И расплатился, и помер за меня раньше времени! Я всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, чего цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чистую приблизил для спасения своего!

Священник тихо возразил:

— Каждый за свои грехи сам ответ держит!

— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!

Священник перекрестился и промолчал.

— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно много ее было, муки той, для одной чистой души! А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!

Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья выбежала за ним.

— Не нужно отчаиваться! — сказал священник. — Жизнь Богом дана, и Он знает, зачем...

— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не говорит! А мне уж и подавно не услыхать!

В окно было видно, как подъехала к дому грузовая машина, отделанная черным крепом. Из машины выпрыгнули мужики и стали выбрасывать еловые ветки...

— Ну вот! Выстелят тебе, Ваня, сейчас последнюю твою дорожку хвоей таежной... Мне бы, что ли, помереть уж заодно...

7

Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море-окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их листву полыхали кострами окна. Все преобразовалось, даже проржавевшая рукоять рябининского колодца и та будто позолотой покрылась.

Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему казалось, что он — один большой, немигающий глаз, видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но никак не участвующий в жизни. Через час-другой стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредутся, и он останется один на один с ночью.

Собаки, привязанные около дровенника, встретившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, но он никак не ответил им. „Продать их надо!" — подумал он. И то, что такая невозможная мысль пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как было: когда засыпал могилу, в земле камень оказался, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди боль от удара почувствовал, потому что хоронил и самого себя. А когда гроб из дому выносили, почему он подумал: „Зачем такой длинный?" — Потому что на себя примеривал! А когда гроб опустили, он долго не мог команду дать, чтоб засыпали... Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, что узка могила, — поленились мужики?

Но было в душе и нечто другое, что никак мыслью не оборачивалось и мешало додумать вопрос о своей жизни.

Шатаясь, вышел из избы Оболенский. Его перед тем вымыли, постригли и переодели. Пока рта не раскрывал, казался вполне приличным. Но ведь, сукин сын, матюгнулся, когда гроб в сенях углом зацепился за наличник. Снес бы ему башку, не держи он гроб...

Увидев Селиванова, проковылял к нему, остановился в двух шагах.

— Я на тебя, Селиваныч, теперь всю жизнь зло иметь буду!

— Ишь ты! — удивился тот.

— Пошто сразу не сказал, что отец он мне? Какое

право имел?

— А ты какое право имел балбесом вырасти? Из детдома сколь хошь людей выходит, а ты свиньей выполз! Тебя отцу родному стыдно показать было! Да он, может, от тоски с твоего вида в тайгу помирать подался!

— У меня вся жись поломанная! — хныкнул Оболенский.

— Каждый свою жизнь сам ломает и чинит! — буркнул Селиванов и махнул рукой. — Иди, лакай самогон! Праздник тебе, нажраться можешь до синих белков!

— А мне, может, он сегодня в горло не лезет! Я, может, тоже помереть хочу!

— Ты-то! — презрительно сплюнул Селиванов и вдруг встрепенулся. — А может, и взаправду помереть хочешь! А?

— А чо! Запросто... — не очень уверенно подтвердил Оболенский. Селиванов вскочил.

— Слушай, паря! Нету здесь нам с тобой простору! Айда в Слюдянку! Там ресторан! Музыку закажем такую, чтоб Иван оттуда услышал! Душа-то его теперь над всем миром летает, все слышит, все видит! Нешто здесь с ней поговоришь!

Он схватил парня за рукав, и они почти побежали от дома в сторону тракта.

Громадный скотовоз заглотнул их в свою кабину и помчал прочь от солнца, которое перед заходом цеплялось за вершины сосен.

Они ехали и орали похабные песни, старик и сопляк, а шофер сначала было насторожился, но потом загоготал и стал подпевать. В тряске Селиванова развезло, он то и дело замолкал и тупо вопрошал: „Куды едем?" Оболенский орал шоферу: „Куды едем?". Тот ржал и кричал: „В вытрезвитель!". На полдороге их захватили сумерки. Шофер включил

фары. Когда в их лучах рисовалась встречная машина или мотоцикл, Селиванов хватал шофера за рукав и кричал: „Дави! Дави его, гада, чтоб не отсвечивал!" Оболенский стал клевать носом, Селиванов бил его локтем в живот, тот вскрикивал, стукался лбом о дверку кабины, матюгался и снова засыпал. Селиванов же словно боялся остановиться в лихости своей и балагурстве, будто страшился собственного молчания и покоя.

Криком встречал и провожал он все, что пролетало мимо них в сумерках. Когда же дорога была пуста, бранил громко шофера и его машину.

Слюдянка вывернулась из-за поворота огнями. В кабину хлынула прохлада байкальского вечера и чуть утихомирила Селиванова. Очнулся Оболенский и невнятно замычал.

— Куда выкинуть вас? — спросил шофер.

Селиванов сказал:

— В церкву! — и сам удивился.

Оболенский икнул и дернулся. Машина проскочила по открытому переезду, обрызгала грязью несколько палисадников и прохожих, рыча проползла по хиленькому мосту и остановилась у церкви. Щедро отвалив шоферу, Селиванов вытолкал из кабины икающего Оболенского и выкарабкался сам.

— Где ресторан-то? — спросил Оболенский.

— Жди здесь! — крикнул Селиванов и направился к церковной калитке. Над крыльцом горела лампочка, на двери висел пузатый замок. Селиванов качнул его туда-сюда, почесал в затылке.

— Тебе кого? батюшку?— раздался за его спиной старушечий голос. — Так вон же дом! А служба кончилась, — охотно пояснила старушка. — Иди, иди! Постучись. Собачки там нету...

„Собачки! — подумал Селиванов. — Сам ищу, кому бы глотку порвать!..” Он поднялся на двухступенчатое крыльцо, постучал в дверь и почти сразу услышал шаги; в сенях заскрипела задвижка. „Ишь, не боится поп, не спрашивает. А ежели я с дубиной?”

— Вам что? — спросил священник, не узнав Селиванова в свете слабой лампочки.

— Это ж я!

— А-а! Не признал. Заходите!

— Нет, нет! — поспешно ответил Селиванов и замялся. — Это, значит, поминаю я друга свово... — И вдруг сунул руку за пазуху, вытащил пачку мятых денег и протянул священнику.

— Что вы! — отступил тот. — Вы и так дали более, чем следовало!

— А я не за то! Я хочу за поминание! Вечное! То есть, сколько денег хватит... Чтоб каждый день...

Священник покачал головой:

— Не могу! Не положено... У нас казначей есть, он квитанции выписывает...

— А я не ему хочу! Тебе! Не возьмешь, порву и вокруг церкви раскидаю!

Священник испугался.

— Но я не имею права!

— А я имею! Не хошь — твое дело! Раскидаю! Твой Бог поймет, потому я по совести...

Селиванов двинулся с крыльца.

— Постойте же! — крикнул священник в отчаянии.

— Берешь или нет?

— Сколько вы даете?

— Я не кошка, в темноте не вижу! Сколько даю, столько бери!

— Хорошо, я сосчитаю и все оприходую и сообщу вам...

— Не священник ты, — сказал Селиванов, — а бухгалтер с мясокомбината! Я тебе толкую, что жизни мне нет, душа из тела выпрыгивает, а ты меня оприходываешь...

Он выругался, ткнул ему деньги и, размахивая руками, зашагал к калитке. Но не дойдя, остановился и бегом вернулся назад.

— Слушай... и за меня там чего-нибудь, ну, чего полагается... Я — человек порченый, но ты словечко замолви... на всякий случай...

Священник сунул в карман деньги, шагнул вплотную к Селиванову перекрестил его.

— Благословляешь? А на что? Когда сосунком был, мать таскала меня на это дело, чтоб, значит, жизнь свою праведно прожил! А теперь-то чего, когда жизнь прошла...

Священник перебил его.

— Будете в Слюдянке, заходите! В любое время! Пожалуйста!

— Поздно мне обращаться! Бывай здоров!

— Ну что? — заскулил Оболенский. — В ресторан-то пойдем?

— Без ресторана нынче никак нельзя! — сказал Селиванов. Но пройдя немного, вдруг остановился около одного дома. У двери светилась табличка. Освещенные окна были закрыты занавесками, по ним плавали тени.

— Надо же! — с удивлением и злобой процедил Селиванов. — В две смены работают! А пристроились-то — у самого Бога под боком! Стой тут! — приказал он Оболенскому.

За первой дверью был маленький коридорчик. Вторая дверь — заперта. На видном месте — кнопочка розовая. Селиванов нажал. Открыл ему высокий молодой человек в сером костюме, с галсту-

ком, справный и подтянутый.

— Тебе что, дед? — удивленно спросил он.

Селиванов ссутулился, скособочился, морщины на лице собрал.

— Да я это, как его, то есть, значит, огепеу тута располагается?

— Что? — изумился тот.

— Я говорю, огепеу...

— Ты с луны, дед, свалился? Огэпэу уже сорок лет как нет!

— Ишь ты! — поразился Селиванов, всплеснул руками и присел даже. — Нету, стало быть! Да не может такого быть, чтобы нашей власти народной без огепеу жить! Обманываешь старика?!

Чуть похолодев лицом и заложив руки в карманы, молодой человек снисходительно пояснил:

— Когда-то было огэпэу, а теперь называется — Комитет государственной безопасности, кэгэбэ.

— Кэ-э, гэ-э, б-э-э... — протянул задумчиво Селиванов. — Ить-то имечко какое себе подыскали! Бодучее!..

— Тебе что надо, дед?!

Это прозвучало уже совсем холодно.

— Дык, значит, до начальника мне бы! Дельце неотложное имеется. Он за какой дверью помещается-то?

Тот непроизвольно взглянул на дверь слева, и Селиванов тотчас направился к ней. Холеная, белая ладонь преградила ему путь.

— Начальник занят. Говори. Я передам.

— Оно можно, конечно, — жалобно простонал Селиванов. — А ты в каком звании состоишь, извиняюсь?

— Старший лейтенант.

Селиванов выпрямился и с презрением оглядел его.

— Лейтенант! — сказал он возмущенно. — И я тут с тобой время теряю? Тьфу!

Обойдя его, он толкнул дверь плечом и закрыл за собой.

В комнате, в торце длинного стола, сидел в кресле мужчина лет сорока, тоже в костюме, при галстуке, и что-то писал. Не дав ему рта открыть, Селиванов торопливо заговорил:

— Извиняюсь, конечно, шел мимо, гляжу, свет горит, сообразил, что во вторую смену работаете, вот удача, думаю, извиняюсь, конечно, но вопросик мне требуется один выяснить, потому как для жизни моей он самый первый вопрос есть! Так что не гоните старика!

— В чем дело? — сурово спросил начальник.

— Значит, знать необходимо мне, это... власть наша, советская которая, как долго она, родимая, еще нами править будет?

— Как фамилия?

— Фамилия-то? — Селиванов широко улыбнулся. — Мы свою фамилию завсегда говорим! Значит, Селиванов я, Андрей Никанорыч! А ваша, извиняюсь?

— Пьян? — отрубил начальник.

— Есть малость! — охотно согласился Селиванов.

— Документы при себе?

Селиванов будто ждал этого вопроса и тут же подскочил к начальнику с паспортом. Тот бросил взгляд на первую страницу, на прописку и вернул паспорт.

— Иди проспись, а завтра мы поговорим с тобой о советской власти.

Селиванов будто бы даже и не услышал угрозы в голосе.

— Завтра? Это можно! А не обманете? Дозарезу мне надо...

— Пошел вон! — рявкнул начальник и грохнул

кулаком по столу.

Извиняясь и кланяясь, Селиванов попятился к двери. Выходя из дома, он услыхал, как начальник крикнул: „Каюров!" И косым взглядом увидел кинувшегося в кабинет лейтенанта.

Из мрака выплыл Оболенский.

— Ну чо?

— Пошли! Время уже много, а нам надо успеть нажраться до свинства!

Оболенский захохотал.

— А чего ты там делал, Селиваныч?

— Спросил, когда их власть кончится!

Оболенский будто язык проглотил — долго-долго молчал.

У дверей ресторана тасовалось с десяток парней и девок. На стекле висело объявление: „Мест нет". Селиванов пробился к двери и затарабанил. В стекле появилась важная физиономия швейцара в ливрее, похожей на собачью упряжку. Селиванов придавил ладонь к стеклу. Лицо стража вытянулось, а руки резво зашевелились на дверном крючке. А когда магическая ладонь со стекла легким шлепком перекочевала на ладонь швейцара, тот остолбенел, но ровно настолько, чтобы Селиванов с Оболенским протиснулись в приоткрытую дверь. Они поднялись на второй этаж. В зале нещадно грохотал оркестр, на небольшом пространстве между рядами столов тряслось несколько пар. Официантки белыми ромашками сновали сквозь пестроту и задымленность зала. Оставив Оболенского у двери, Селиванов шмыгнул за столики. И там свершились какие-то замысловатые комбинации, в итоге которых обнаружился свободный столик с двумя стульями.

Селиванов махнул рукой. Оболенский шустро

подскочил к столу. В этот момент снова рявкнул оркестр. Ударник так колотил тарелками, что казалось, будто он хлопает потолком об пол, сплющивая присутствующих в немую кашу. Оболенский обалдело крутил головой. Селиванов сидел хмурый, стучал вилкой по столу и шевелил губами, неслышно обкладывая все, что попадало на глаза. За соседним столиком сидели трое парней, почти мальчишки, и одна девица того же возраста. В ритм ударнику они дрыгали всеми своими конечностями, пялили друг на друга помутневшие глазенки и подталкивали друг друга локтями: время от времени они хватались за руки. Оболенский смотрел на них с завистью, Селиванов — с отвращением. Те не замечали их вовсе.

На столе появились графинчики с заказанными коньяком и водкой, биточки — котлеты, салаты и даже салфетки: их Селиванов брезгливо отодвинул подальше, на край стола.

Когда наполнили рюмки, Селиванов хотел произнести тост, но открыв рот, выругался, встал и направился к оркестру.

Оркестр словно нотой подавился и тихо заскулил про бродягу, который бежал с Сахалина. Только неслыханная щедрость Селиванова могла заставить оркестрантов решиться на этот подвиг.

— За друга моего, за твоего отца! Пусть ему будет после этой смерти другая жизнь, чтоб не ушел он весь в землю, а над ею поднялся и улетел от этой земли к ... матери!

Оболенский живо глотал котлеты-биточки. Глядя на него, жрущего и чавкающего, Селиванов сказал угрюмо:

— А ведь тебя тоже Иваном зовут, а вот назвать тебя Иваном не могу! Ванькой только если! У мамки в пузе ты был больше Иваном, чем сейчас!

Тот улыбался, жевал, хватал графин и наливал снова. Он на глазах раскисал и весь расползался. И вдруг заплакал.

— Все равно всю жись зло буду иметь! Пошто не сказал про отца?

— Заткнись! — буркнул Селиванов.

— Я с тобой, знаешь, что сделаю! — пьяно залепетал Оболенский. — Я на тебя трактором наеду и поворот включу и буду тебя гусеницей в землю втирать! Во чего я с тобой делать буду!

— Балда, — вяло сказал Селиванов.

— Я тебя трактором...

Селиванов налил ему еще.

— Я петь хочу! — заявил он.

— Пой, дура!

Оболенский вскочил, выпучил глаза и заорал дико, обращая на себя внимание соседей:

Ох, милка моя,
шевелилка моя!
Сама ходит-шевелит,
А мне пощупать не велит!

Больше он ничего вспомнить не мог, крикнул: „Э-э-эх!" и затоптал на месте, перебирая ногами: он плясал. Парни с соседнего столика окружили его, хлопая в ладоши, закатываясь в хохоте и подмигивая друг другу.

— Селиваныч! — завыл Оболенский. — Я угостить их хочу! Тот молча достал из кармана пиджака четвертак и бросил на стол.

— Всех напою! Имею право!

Мальчишки обнимали его, хлопали по спине, перетащили за свой столик, посадили на колени к девчонке, которая щекотала его и разрешала себя лапать.

Селиванов мрачно сидел в одиночестве, пил и не

пьянел. Еще один четвертак улетел из его кармана за соседний столик, откуда визги и крики соперничали с оркестром. Появился администратор и что-то говорил парням, показывая рукой на дверь.

Селиванов поднялся, кинул на стол еще четвертак, подошел к компании и стащил Оболенского с девчонки. Возражавших парней утихомирил коротко: „Цыц, щенки!” Те злобно переглянулись, но смолчали.

Придерживая Оболенского, он вышел с ним из ресторана. Было темно и холодно. Оболенский вырывался, кричал: „Не хочу!”, получал тумака и всхлипывал.

— На вокзал пойдем, покимарим до автобуса... Не получились поминки по другу моему! Да иди ты, балда! Надоел ты мне...

Лампочка над входом в ресторан, еще несколько на столбах, а дальше — темнота. Они плелись медленно, на ощупь. Торопиться было некуда. В конце проулка, около вокзала, на кривом телеграфном столбе светилась чудом уцелевшая лампочка. И здесь вот они нос к носу столкнулись с мальчишками из ресторана. Девки с ними не было.

— Ну-ка, дед, вытряхай карманы! — прошепелявил один из них, толкнув Селиванова.

— Чего-о!? — Голос перехватило. Мигом очнулся Оболенский, отступил в темноту.

— Карманы вытряхай! — повторил другой, понижая голос до баса.

— Ах вы щенки блохастые!! — задохнулся от ярости Селиванов. — Это вы — на меня!? Да вы знаете, кто я есть? Да вы, мокрицы, такого в кино не видали! Ванька!

Но Оболонский растаял, как привидение. А парни стояли, криво ухмылялись и шевелили руками в карманах.

— Выворачивай карманы, старый хрыч, а то схватишь по геморрою!

Селиванова затрясло.

— Пугаешь, сопля косматая!? Да меня чекисты пугали и в землю полегли! Власть пугала да утомилась! А вы... А ну брысь отседа, недоделки!

— Санька! — с радостным изумлением завопил один. — Он — против власти! А ну врежь!

В глазах Селиванова сверкнуло. Его отбросило, но он не упал. Второй удар был по голове. Кто-то обхватил его сзади, кто-то шарил в карманах...

— Есть?

— Есть!

— Выблядки!! — заорал Селиванов. — Перешлепаю!!

— Санька, ковырни гада, чтоб не хрюкал!

От острого удара в бок Селиванов прогнулся в коленях и — отпущенный — упал.

В проулке никого не было. Боль мешала подняться. Он дотронулся до бока и ощутил мокроту. И вдруг понял: ударили ножом. Конечно! По бедру потекло. И запах. Он знает этот запах... — Это что же? — спросил Селиванов. — Они меня убили? Они? Щенки?! — Обида заглушила боль. И вдруг сказал с облегчением: — Ну и слава Богу! Какого мне хрена жить! Вот и подохну сейчас под забором. Как мне и положено...

Он хотел лечь по-человечески, пока не потухнет сознание. И подохнуть спокойно. Он лежал посреди проулка, зажимал рукой рану, глядел в небо. И представлял себе: утром пройдет кто проулком, увидит его труп, испугается...

„А хоронить-то некому будет? — Мысль пришла внезапно. — В Иркутск ведь никто не сообщит... Вот до чего дожил!" — Он тихо всхлипнул. — „Господи, как обидно!.."

А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела: чтоб не от раны, а от обиды помер; чтоб жизнь свою проклял; чтоб умолял ее, смерть подлую, поторопиться; чтоб благодатью ее назвал!

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое слово услышать...

— Ай, Ваня! — шептал он. — Если ты есть где-то, радоваться должен: свидимся скоро! Хотя навряд — в разных местах находиться нам с тобой... Может, замолвишь словечко? Ведь тебе-то одно добро делал! Ту картечину что́ считать! От ее и следа не осталось. В ногу — это не в бок. Мне вон в бок, а и то терпимо...

И тут примерещилось ему, что он смех Иванов слышит. А Ивана не видать...

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, когда смерть ему в глаза глядит?..

Спина меж тем заныла. На земле были камешки. Да и холод от нее шел. Селиванов поежился. И вдруг сообразил: „А рана-то, может, и не смертельная вовсе...”

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он уже был на ногах. В боку резануло, защипало, заломило. По ноге, до самой пятки, ручеек потек. Но разве ж это смерть?!

— Во жизнь собачья! — сказал он громко. — Помереть и то по своей воле не дадено...

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно заковылял к вокзалу.

Отзывы на эту книгу
просим посылать по адресу издательства:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt a. M. - 80